БИБЛИОТЕКА ДООС– ПОЭЗИЯ

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос-Рус)
Ч-49

ДООС-ПОЭЗИЯ

ДООС – аббревиатура Константина Кедрова-Челищева 1983 г. – Добровольное общество охраны стрекоз Девиз: «Ты всё пела? Это – дело!»

ДООС приветствует теорию и практику метаметафоры (термин Константина Кедрова-Челищева, предложенный им в 1978 г.)

Библиотека ДООС – ПО основана Издательством ДООС Маргариты Аль в 2014 г.

Редакционный совет: доктор философских наук Константин Кедров, Маргарита Аль, Елена Кацюба.

ISBN 978-5-9906507-6-3 © А.Чернов, текст, 2015.
@ М.Карчина, фото, 2014

АЛЕКСАНДР ЧЕРНОВ

НИЖНИЙ ВЫШГОРОД

СТИХОТВОРЕНИЯ

Москва
Издательство ДООС
2015

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА

Родился я в городе Петропавловск-Камчатский. Отец служил там в бронетанковых частях. Он фронтовик, участвовал в Сталинградской битве и освобождал Украину от фашистов. Потом семья переехала в Киев, где я закончил среднюю школу и поступил в инженерно-строительный институт. Там я начал сочинять стихи, забросил учебу и был отчислен с первого курса. Но я собрался с духом и вновь поступил уже в педагогический институт на русский филфак. Так как я потерял право на отсрочку, то был призван в Советскую Армию. Служил в Подмосковье. После демобилизации работал кочегаром в Тушино и послал свои стихи на творческий конкурс в Литературный институт имени Горького. В Литинституте учился на поэтическом семинаре Евгения Винокурова. Получил диплом и работал редактором в литературном журнале «Радуга» (Киев). Тогда же начал активно печататься как поэт в литературных журналах Москвы и Ленинграда. Участвовал в совещании молодых писателей (семинар Роберта Рождественского).

Я автор пяти книжек поэзии «Глазомер» (Москва), «Подробности», «Фуникулер», «Глазо-

мир» и «Леденцовый период» (Киев) и многочисленных публикаций в литературных антологиях и альманахах русской поэзии. Лауреат премии имени поэта Николая Ушакова, дипломант Международного Волошинского и Международного Тютчевского конкурсов, победитель Международного Лермонтовского конкурса и обладатель золотой медали за первое место в супертурнире русской поэзии за рубежом (Кембридж).

Я член Национального Союза писателей Украины, Союза российских писателей и Русского ПЕН-центра. Мои стихи переводились на французский, немецкий, английский, украинский и сербский языки.

ПОЭЗИЯ

Анри Руссо

Вчера я в густой кукурузной траве
кобылу поймал, чтобы в теле порыться,
она вся из трубок была, словно рыцарь,
и воздух по трубкам протяжно ревел.

По синему небу биплан пролетел,
пока я возился с поломанным крупом,
и бледный пилот, или белый, как мел,
смотрел на меня, разговаривал в рупор.

А с моря сигналил морской экипаж,
из толстой трубы вырывалися клубы,
болталась веревка с футболками клубов,
военный оркестр репетировал марш.

Народ собирался послушать мотив,
свистели и пели, взрывались петарды.
Я был ошарашен, я был леопардом,
а вместо кобылы был локомотив!

Лицо прикрывая, сбежал машинист,
потом — кочегар, но остался помощник,

при виде меня в нем проснулся художник,
и правая кисть перестроилась в кисть.

И я ощутил, как по шкуре моей
прошли его пальцы легко и приятно,
под ними возникли полоски и пятна —
следы неизвестных заморских зверей.

Сказание об Индийском царстве

Я есть Иоанн царь, старший при дворе,
царь царям соседним, царевич и царица.
Под собой имею три тысячи царей,
а хотите честно — три тысячи триста.
Много территории. Правлю я один.
Царство-государство любое поместится.
В западную сторону лучше не ходить,
в сторону восточную пеших десять месяцев.
Всякие народы на земле моей,
есть немые люди, лысые, горбатые.
Есть и великаны в девять саженей.
Есть мужи с копытами, с крыльями,
с лопатами.
Есть зверье какое-то, помню, что с хвостом,
там, где оно мочится, всяк предмет сгорает.
Есть и крокодилы, плачут под мостом.
Есть и птица Феникс, а живет в сарае.
Птица эта чудная, возраст — лет пятьсот!
Но зато не водится ни змея, ни жаба.
Если же какая случайно заползет,
люди подневольные пожирают жадно.
Есть пустыни знойные, полные песка,
там, где верноподданные делают карьеры.

Чтоб не разбежались — стерегут войска,
жалобы и просьбы — редкие примеры.
Есть гора высокая, верха не видать,
из нее глубокая речка вытекает.
Если прыгнуть в речку ту, можно жемчуг
взять.
Я уже приказывал, только не ныряют...

Самое же главное, чуть не позабыл:
в спальне чудо-зеркало, в копоти и саже.
Кто назло хозяину в чем-то согрешил,
сразу это зеркало на него покажет!

* * *

Ботанический парк. Ствол
с табличкой «Бундук»
(уникальное дерево западной почвы).
Чей-то дедушка отпер лопатный сундук,
темно-синий сундук, словно списанный
с почты.

В парке полутемно или полусветло.
На дорожке дуэль — человек и природа.
Ополченческий дедушка строгой метлой
изгоняет собак незаконного рода.

На скамейке студент, в это раз без очков,
без типичных очков, без портфеля и шапки,
с сигаретой, верней, сигаретным бычком,
с пожилым столяром соревнуется в шашки.

Оба вправлены в рамки спокойной игры.
Листья падают в дамки и падают мимо.
Их сбивает щелчок или ветра порыв —
это вносит в игру элемент пантомимы.

Белка вниз головой на стволе бундука,
у нее в голове черно-белые клетки.

У студента ненужные шашки в руках,
у партнера помет голубиный на кепке.

Недруг тощих собак направляет совок
на какой-то кулек в неположенном месте,
он честит листопад и живой уголок
в нехороших словах, скомпонованных вместе.

Пенсионный столяр заимел перевес,
хоть на левой руке не хватает двух пальцев.
Мелкий дождь начинает спускаться с небес,
и студентик не в силах уже отыграться.

Белка вместе с хвостом утонула в дупле.
Побрели игроки на трамвай номер восемь,
где на заднем окне отразились в стекле
ботанический парк, привокзальная осень...

* * *

Небесный месяц, словно слово,
висел над кепкой рыболова,
и понимал рыбак под нимбом
подробный ход подводной рыбы.
Не ощутимая на ощупь
дышала воздухом природа,
среди сонливости всеобщей
она ждала переворота.
Над отраженными мостами
спокойно плавал свет вечерний,
но беспокойными мозгами
в консервной банке жили черви.
Пока рыбак в теченьи часа
по дну реки грузилом шарил,
в одну критическую массу
сомкнулись черви полушарий.
Как стебли выловленных лилий,
слагая кольчатые числа,
на берегу зашевелились
доисторические смыслы.
И тут под черепом жестяным
возникло тело обезьяны,
с лохматым торсом и душою,
полузвериной и большою.

Вдруг в череп муха залетела,
пуская дым исчезло тело…
Стократный образ петуха
засеменил на трех ногах,
как будто гусь, метнулся в реку
преодолел ее и часто
за горизонтом кукарекал,
пока разваливался на части.
А рыболов царапал воду,
его рука улов искала,
его резиновая обувь
раствор воды не пропускала.
Он в рыбу верил, как в науку,
и по ночам протяжно думал,
поймать серебряную щуку
и не дышал, как будто умер.

* * *

Его тревожил только звездопад.
Он сочетал замашки борзописца
и лазерное зрение провидца,
но в основном работал наугад.

Не находя сочувствия ни в ком,
такой же одинокий, как предметы,
он зажигал от взгляда сигареты
или ходил по снегу босиком.

Но, прикасаясь к линиям руки,
в какой-то миг предчувствовал и видел
далеких звезд рождение и гибель
и ближних повседневные витки.

Он испытал сомнения и страх,
когда в глазах, как в линзах телескопа,
шли к исповеди странники Лескова
и звездные скитальцы без рубах.

Он узнавал их только по шагам,
резные зеркала терзая днями,
царапая созвездия ногтями
на черновых изнанках амальгам.

До ужаса точил карандаши,
надеясь, что когда-нибудь в графите,
как на пороге ядерных открытий,
замкнется разность тела и души.

Рыбавль

Пивной ларек, где мужики
толпятся спинами друг к дружке.
По кулакам пивные кружки,
одутловатые кружки.
Один питается лещом,
другой скривил от дозы грубой
наждак осунувшихся щек,
бутылкой вправленные губы.
В накладку баня и завод,
отцы шипят над слоем пены,
а дети, ростом по колено,
копают пыльный огород.
Малыш, проказник и балбес,
стучит по банкам и канистрам,
под бочку толстую залез,
потарахтел и вылез быстро.
Потом катает ржавый обруч,
потом по собранным костям,
сцепляя жабры по осям,
он восстанавливает воблу.
Пятнадцать туловищ в одно
он сочленяет, как на спицах,
на перепончатую птицу

сливает пиво и вино.
В его руках дрожит костяк,
в его губах костяк щебечет,
перебирает крыльев плечи,
слюдой оскольчатой блестя,
и разом скаркивая крик,
и свист роскошной голубятни,
взлетает в небо: чик-чирик!
И вниз, в пивную на попятный.
Малыш про птицу позабыл,
ему рыбавль уже не нужен,
он обнаружил берег лужи
и коробок, который плыл.
А недоделанный прибор
садится прямо на забор
и, ощутив инстинкт лягушки,
в янтарные ныряет кружки,
и гасит пеной «Беломор».
На ободке, как стрекоза,
как призрак беленькой горячки,
крючкастым чертиком маячит,
таращит мутные глаза.
Сам продавец интеллигентно
взывает к разуму клиентов,
мычит о чести завиденья,

выносит тульский дробовик,
прикладом давит воротник,
и целит в рыбье привиденье.
— Трах-тарах!— сказал огонь,
муляж споткнулся, будто конь,
вобрал меж ребрами металл,
вошел в забор и перестал.
Со всех сторон аплодисменты,
за попаданье, как в кино,
освобожденные клиенты
несут в подарок домино.
Такую сложную игрушку
уже никто не соберет,
и пиво пьет за кружкой кружку,
и торжествует весь ларек!

* * *

Усни под дождь — окажешься дождем,
пространством между облаком и лужей,
и, струнную мелодию прослушав,
ты перейдешь в подземный водоем.

А там, среди корней, среди камней
на берегу разбуженного Стикса
ты обнаружишь статую из гипса
и прочитаешь надписи на ней.

Ты прочитаешь: «Путник из дождя,
готов ли ты для смены состоянья?
Взгляни на меловое изваянье,
всмотрись в лицо — вот копия тебя.

Всмотрись в лицо и ты увидишь знак
своей души за гипсовым пределом,
ее тоску по каменному телу
в водовороте медленного сна.

Пока твой сон летает вверх и вниз,
и неподвижны стрелки на запястье —
ты статуя у вечности в запасе.
Усни под дождь и заново проснись».

В кафе

Не играет кофейный оркестр,
мои уши не слышат мелодий,
я смотрю на часы, как все люди,
у которых к часам интерес.

В электрический корпус часов,
в механизм с меховою изнанкой
я вставляю себя спозаранку,
постигая основы азов.

Мой зрачок превратился в мозоль,
путешествуя, как по болоту,
в насекомом кругу циферблата
по двенадцать часов.

Только сдвинется стрелка едва
на часах в этой самой кофейне,
оживает, как будто в скафандре,
удалая моя голова.

И тогда, подражая Луне,
циферблат на стене корчит рожицы
или стрелки, как шустрые ножницы,
вырезают дыру на стене.

Эти ножницы — мой глазомер,
глазомир, где моргает и морщится
и несет свою швабру уборщица
для принятия экстренных мер.

В объектив запускает стакан
и рыдает от мук огорчения,
наблюдая процесс размножения
у двумерных людей, египтян.

Появляется южный песок
на полу, на окне и на скатерти,
а уборщица миноискателем
норовит меня стукнуть в висок.

А дежурный милиционер
подвернувшемуся фараону
болевым милицейским приемом
ущемляет египетский нерв.

Но бесплотен, увы, фараон,
сквозь него проникает милиция
и ужасно от этого злится,
получая моральный урон

И в пространстве, похожем на суп,
где свиваются в смерчи спиральные
и песок, и устои моральные,
египтяне фуражку несут.

На фуражке видны полюса,
есть и стрелки, и прочие гадости, —
старшина умирает от старости
у меня на глазах.

И с раскаянием на губах,
как святая, чье тело не портится,
умирает от смерти уборщица
у меня на руках.

С циферблатом на каждой щеке,
обреченный на мир и молчание,
погружается в думы песчаные
египтянин в моем пиджаке.

И оставшись в безлюдном кафе,
я и он, унизительно плоские,
забавляемся чайными ложками,
совмещенными, как галифе.

Домашние животные

Муха — комнатная птица,
муха — точка и слюда.
Если муха не садится,
муху трудно наблюдать.
Так во все четыре стенки,
муха бьется головой,
что теряет постепенно
насекомый разум свой.
Есть у мухи лапки-руки.
В этих лапках страшный вред.
Опасайтесь, если мухи
прилетели на обед.
Здесь вступает в силу свойство,
по которому живот
подвергается расстройству
и страдает круглый год.
Всем узлам пищеваренья
и желудку, и кишкам
угрожает отравленье
и присутствие горшка.
Есть у мухи враг активный —
это наш надежный друг,
зверь-паук в углу квартирном

очень любит кушать мух.
За буфетом и картиной
там, где тряпке лазить лень,
он развесил паутину,
как стрелковую мишень.
Ну, а сам сидит в десятке,
не жужжит и не поет,
пожирает мух и всяким
людям пользу создает.

* * *

Ветер с запахом печальным
вертит плоские педали
от себя или к себе,
словно в дереве миндальном
изобрел велосипед.

Холм в густой лохматой шапке
и высокий кипарис,
словно ствол небесной шахты,
даль прибрежного ландшафта
искажает и парит.

Вся миндальная долина
перевернута вверх дном,
лодка, или мандолина,
звук упавшего болида
резонирует с трудом.

И в туманной орбитальной
колебательной среде,
словно булочка в пекарне,
зародился желтый карлик
и остыл в самом себе.

* * *

Вознесенный до самого неба
под высокой вечерней звездой
с теплым запахом свежего хлеба
вьется дым над печною трубой,
чтобы чувствовал кто-нибудь зрячий
среди холода звездных огней
в совершенстве буханки горячей
продолжение жизни своей.

* * *

Я просыпаюсь в доме на горе
и с той горы всегда спускаюсь к морю,
минуя школу, баню, санаторий
и санаторский псевдоминарет.

Один виток татарского шоссе,
лавровый сквер, где белые скульптуры,
один бассейн, а рядом — небассейн
и остальные признаки культуры.

Палатка с пивом. Очередь. Сосед.
Я подхожу, когда сосед у цели,
когда он пиво бархатное цедит
и говорит мне: «Здравствуйте, сосед!»

Он говорит, пуская пузыри,
аэрозольный смысл его тирады
летит от нас на нижние террасы
и исчезает быстро от жары.

Мои соседи — это семьи из
двух городов Воронежа и Ровно.
Для укрепленья тела и здоровья
они нашли поселок Симеиз.

Мои соседи — это две семьи,
они живут сплоченным коллективом,
у них есть деньги, инициатива
и интерес, накопленный с зимы.

Но, расставаясь с ними по утрам,
я нахожу свою дорогу к морю,
минуя школу, баню, санаторий
и санаторский летний ресторан.

Я выхожу на каменный развал,
на место очень древнего конфликта,
где валуном огромного калибра
один циклоп другого убивал...

И, наблюдая зыбкую среду,
где свойства жизни якобы плохие,
я прыгаю в свободную стихию
и превращаюсь в рыбу на лету.

Крик

Раздирает горлянку привычка
саблезубый заглатывать зонд,
и елозит скрипичная смычка,
нарываясь на острый резон.

Пусть рубильник в кровянку расквашен,
убедительно и свысока
прокричу глубочайшей из скважин
откровение от байстрюка:

— Ослепила бензольные кольца
мне горилка в подольской корчме.
Бесполезно молиться на солнце,
если Бог обитает во тьме.

Ну, а если ... а если ... а если
по команде Творца: «Отомри!» —
взяли бы и взаправду воскресли
первобытные парни земли.

Прорвались бы чумой через морок,
очищая от падали рты.

О, какой навели б они шорох!
Динозаврам и прочим — кранты.

В пух и прах разметали б границы
всевозможных дозволенных чакр.
На века б зареклись украинцы
оккупантов хлеб-солью встречать.

* * *

Под снегопадом, под кузнечным прессом
в лазутчике сутулится мазут.
Полупустой трамвай по снятым рельсам,
как паланкин, попутчики несут.
Хлопки и хлопья, перья и скорлупки,
запуганная шмоном тишина.
Исчезли подворотни, переулки,
не улица — китайская стена.
Великая кабацкая забава:
влепив опознавательный синяк,
бесцеремонно из полуподвала
на белый снег выбрасывать гуляк.
Да будут пухом бровки и асфальты
тем, кто без денег лишние везде!
А город патрулируют курсанты
Национальной школы МВД.
Уверенные в том, что будет завтра,
они выходят с вечера в наряд.
На голодранцев смотрят без азарта
бессмертными глазами поросят.

* * *

По силуэту утонченному
с очаровательным лицом
я сублимирую по-черному
в районе под череповцом.

А ты летишь в латинском танце и
флиртуешь с клубною гурьбой.
Я представляю нуль дистанции
между партнером и тобой.

От пяток светишься до темени
салютом чувственным... Смотри,
разлуку выдумали демоны,
а это — те еще хмыри.

Они в коктейль вина и музыки
такой добавили дымок,
что женщины снимают трусики
и тело бреют возле ног.

Чтоб между полными бокалами
от возбуждения лакун
дрожал тактильными сигналами
малиновый рахат-лукум.

* * *

Свежак направляет суда на Судак,
на рифы и шельфы.
Из трюма зеркального на полубак
вылазят пришельцы.

А каждый, как люминесцентный Кощей,
на вахте бессрочной
рубины варганит из лунных лучей
для оптики точной.

Готов утопить в лабиринтах ушей
свои же лодыжки
и почками лапать плавучих мышей,
и хлопать в ладошки.

Пока не напялит одежду из шкур
(как раз с этим строго),
прекрасные дамы выходят на штурм.
На единорога.

Цепляется крабовладельческий строй
за якорь-трезубец
и в бухте Разбойника ищет покой,
как будто безумец.

Умней Карадаг обойти стороной,
а то на закате
по правому борту тряхнет стариной
прогулочный кратер...

Поблизости ни костерка, ни дымка —
сплошной заповедник,
и пришлые тянут из нас ДНК
от вздохов последних.

* * *

Плюю прицельно, не в облом
для бывшего народника,
на алебастровый апломб
у пана подбалконника.

Глухонемой переполох:
намедни хмырь из домика
бетоном харкнул — Бобик сдох.
Безумно жалко Бобика!

Зато я щедр, как Водолей,
переизбытком допинга,
покуда сам не околел
невинной жертвой подвига.

Мне это гроб не по плечу,
не по пути процессия —
на кровь, чуму и саранчу
просрочена лицензия.

Пока не выберу маршрут
на брудершафт с фортуною,
поскольку волосы растут
быстрее, чем я думаю.

* * *

Дурачились до измора
позируя сквозь лазурь,
вытаскивал я из моря
азартную стрекозу.

Был наискось опоясан
я весом любимым весь,
и скалился Херсонес
зияниями балясин.

Пикантная панорама
капризнее, чем талант,
дрожал олимпийский мрамор
поваленных колоннад.

Изюминка эпицентра
раздвинулась в пятерне.
Календула и люцерна
расплющились на спине.

Меж склепов и мавзолеев
мы снова переплелись,
и лежа, и на коленях
копируя эллинизм.

* * *

Как губят петуха,
от крика просыпаясь,
хозяин впопыхах
зарезал попугая.
Упорно дергал шнур,
хрипел отрывки арий —
обиделся на тварь и
по горлу полоснул.
Чтоб откликался в масть
дуэтом
без уверток.
Молчанье — это казнь,
и птичка в Книге Мертвых.
Заткнись, пернатый друг
без головы и пуха,
ощипанный испуг
застрял в копилке уха.
Небесный звукоряд
и азбука подземки
артачатся, фонят,
вибрируют от стенки.

В котле глухонемом
разделанная тушка
о будущем
нутром
орет на всю катушку.

* * *

Люблю в атласе и в ажуре
ветхозаветный стыд и срам,
зеркальный кайф в телесном шурфе
и привокзальный ресторан.

А там, с утра в похмельном трансе
нахальный лабух Алексей
с рояля сбрасывает Брамса
в донецкий угольный бассейн.

Пусть уверяют в военторге,
что гарнизонный тост «За дам!»
внезапно поднят по тревоге
и дембельнулся по домам.

Не подпускаю и на выхлоп
сторожевую свору догм,
иначе унтами на икрах
повиснет павловский дурдом.

Когда у каждого идального
диаметрально вольный стиль,
ему везде — турхейердально,
ему, как негру, — не грустить.

* * *

Задавалы-учителя
не учили меня плохому.
Я ж выделывал кренделя
по невежеству молодому.
На художника не похож.
По вагонам и по платформам
вышивал за подножным кормом.
Неужели пойду под нож?
Жизнь калечил, как не свою,
как собака, лакал из миски.
С тенью дрался, но в том бою
стал опасен для самых близких.
И, разлукой по горло сыт,
догадался под сводом синим,
почему рукоблудный сын
возвратился к подсобным свиньям.

* * *

Он Свифтом опусы насвистывал,
и гулливерил без путей,
освобожденный альпинистами
из барельефа Прометей.

Шагал, жильем не обеспеченный
и раскантованный врасплох,
без предрассудков и без печени
курил сухой чертополох.

Слегка закафканный, застенчивый,
дитя добра и света весь,
он мог поднять с асфальта птенчика
и, не раздумывая, съесть.

Но так погряз в духовных поисках
с аквалангистами Кусто,
что мог сорвать гранату с пояса
и положить ее в гнездо.

Когда закрыли в «обезьяннике»,
а по Декарту — замели,
картезианцы, как десантники,
распределитель разнесли.

Хоть в беспорядках не участвовал
(не отказали тормоза),
по зову сердца Луначарского
пошел, куда глядят глаза...

* * *

«Я люблю, когда в названьях числа:
Одинцово, Троицк, Уч-Кудук,
Пятигорск, Четыре Коромысла», —
под колес вагонных перестук
говорит попутчик по маршруту
(по повадкам — бывший счетовод),
всю свою нехитрую науку
вкладывая в этот анекдот.
«Раньше буквы — это были числа,
а земля обозначала семь,
только исторические циклы
с местностью совпали не совсем».
До чего же редкое нахальство,
чтоб рукой в яичной скорлупе
объяснять историю на пальцах
вкупе с географией в купе.
Мчится поезд через Пятихатки,
но когда при въезде в Чертомлык,
начинает спутник чертыхаться,
я кусаю собственный язык.
И хотя не связан я со счетом,
вопреки воззрениям моим
Третий Рим становится Четвертым,
а Четвертый — Пятым и Шестым.

Да простит Господь мою наивность,
и за то, что слишком перепил.
Я согласен — миром правит индекс:
Беэр Шева, Твин Пикс,
дыр, бул, щил.

* * *

«Словарь хазарский» вышел давеча,
и в забегаловке «Визит»
пропойцы так читали Павича,
что плакал с Косточки бандит.

В котлах размешивая специи,
монахи с криком: «Охолонь!»
на злые лысины турецкие
сливали греческий огонь.

Чалмой клубился янычар,
живым костром коня и всадника,
и говорящий дым рычал,
в пивной размахивая сабелькой...

Гасила водка из картофеля
осады горечь и ущерб.
Когда-то мы учили Гоголя,
но Колька Гоголь был не серб.

Зато любой, без исключения,
из местных пьяниц и сачков
мог по нужде без принуждения
в Европу прорубить очко.

* * *

Какая муха укусила
меня в разгаре полугодия —
писать по методу Мефодия
и за себя, и за Кирилла.
Но где вы встретите оболтуса
с тремя амбициями в сумме,
который хочет на полкорпуса
опередить братву Солуни?
Дремуч, как дебри Беловежские,
косноязычнее трамвая —
за это не по-человечески
и не по-божески страдаю.
Стрела высокого подъемника
вчера упала на кофейню,
я над разломом багровею,
переживаю за покойника,
за кавардак, за недостачу
сердечных мук в загробной музыке...
Переворачиваюсь в мусорке,
в родной словесности батрачу.

* * *

Неповторимый кагор
в храме Бориса и Глеба.
Ангелы третьего неба
помнят о нем до сих пор.
Время — забывчивый хмель.
Мерный потир с виноградом
плавает в заводи рядом,
словно с икрою форель.
Темный и светлый изюм
кубарем выпал в осадок.
Сцеплены купол с фасадом,
как водолазный костюм.
Воздух пропитан Днепром,
сыростью демисезонной.
Приступ болезни кессонной
ноет под каждым ребром.
Буря в стакане воды,
в лампе слепого накала,
если стояли цветы,
будут лететь как попало.

* * *

Гложет плацкартная скука,
не прожевать, надкусив,
кислое, словно разлука,
яблоко белый налив.
Раньше, чем транспортный климат
высушит пролежни снов,
«Мертвые самку не имут!» —
лозунг сморозит озноб.
Если сию же секунду
под кучерявым руном
не обнаружу Пицунду,
тронусь дырявым умом.
Ссорятся шершень и овод
из распаренных глаз,
не умещаются оба
в закрепощающий спазм:
правый отправится в двери,
левый — стеклом на стекло.
Ласковой плазмой потери
в кровь заструится тепло,
в светлую память и — в дамки,
в яблочко, в самую суть.
Прямо в консервные банки
Млечный сгущается путь.

* * *

Я с детства был веселый малый,
к словам доверчивый, как лох.
Сияли в небе драгметаллы
двух поэтических эпох!

Под монастырь подвел характер.
Неповторимый путь земной,
как золотая лихорадка,
чуть не закончился в пивной.

Опохмеляясь по утрянке,
на тонкой ниточке вися,
я представлял, как серебрянкой
оградку красили друзья.

Не надо подвигов и славы.
Прощай, пивная и трактир.
Один среди чистейших сплавов
стихов не пишет ювелир.

И не сажает на колени
хмельных девах из ПТУ,
и не зовут его коллеги
лупить вокзальную братву.

Не рвет от ворота рубаху,
не перехватывает нож...
На сумасброда, на гуляку,
на человека не похож.

* * *

Над Подолом полная луна
колесит по небу, как трамвай.
Я найму веселого слона
и махну к любимой на Алтай.
Напою портвейном сторожей,
чтоб зверинец киевский уснул.
Словно шейх с улыбкой до ушей,
элефантно въеду в Барнаул!
А когда пройдет парад-алле,
отгремев, закончится салют,
я скажу, что Сашка-шевалье
к вам притопал трезвый, как верблюд,
что устал слоняться бобылем,
что к прекрасной женщине спешу.

У слона за ухом почешу,
у меня в запасе — ход конем.

* * *

Еще с телеграфа не сняли лесов,
еще парикмахер не снял портупеи.
Война выпадает на долю отцов,
на долю детей остаются «трофеи».
Блажен, кто опасную бритву достал,
как острую грань между жизнью и смертью,
покуда ее безупречная сталь
еще не покрылась морщинистой сетью,
мы неуязвимы... И если вчера
ты умер в себе и воскрес, как Озирис,
тебя в глубине проходного двора
встречает мальчишка в костюме на вырост.
Какими судьбами? Сквозь тлен и распад,
растерянно суть собирая на ощупь,
настенным узором покрыл виноград
и так оживил привокзальную площадь.
В прекраснейшем из всевозможных миров,
за маревом теплых бассейнов подстанций
склонились над старым сараем для дров
охапки съедобных соцветий акаций...
Перрон. Перламутровый аккордеон
огромный, как школьный макет Днепрогэса,
поет на ветру: «Я — цыганский барон...»
и сказки какого-то Венского леса.

* * *

Путь убивает идущего.
Времени вечно в обрез.
От показного до сущего
много случайных словес.

Может, всю жизнь из-за робости
и упований на срок
я упускаю подробности,
будто меж пальцев песок.

В память, где явь перекрещена
клейкими лентами снов,
смотрит растерянно женщина
красноречивее слов.

Так, отражая по-разному
улиц неоновый свет,
ищут собратьев по разуму
странники с дальних планет,

или, пугая свидетелей
цепкими иглами глаз,
ищут сироты родителей,
исподволь, в каждом из нас.

Взор поступательно движется
в тесном пространстве меж стен,
если потеря отыщется,
что предлагают взамен?..

* * *

Слово за слово стих напевает чуть слышно
бессонница.
Перепутались стороны света, надир и зенит,
обернулась колодезем водонапорная звонница —
глухо цинковый колокол в темных глубинах
звонит.
А закрытым глазам не хватает отчетливой
резкости,
огоньки, словно пятна бензина за влажным
стеклом,
сквозь бетон и кирпич приближаются
к сердцу окрестности
и развилка железных дорог за Волынским
постом.
Вот сейчас промелькнет тормозная площадка,
и кажется,
что, сорвавшись с подножки, откосом качусь
чуть живой,
в полосе отчуждения бросив лопату и
саженцы,

к непутевому сыну обходчик спешит
путевой...

Затянулись, исчезли из памяти прежние
ссадины,
только поезд товарный и мой неудачный
прыжок,
только домик служебный, земельный надел
приусадебный,
китель форменный, сиплый сигнальный
рожок.
То теплом, как из печки, то холодом, будто
из проруби,
на меня надвигается время: час пятый,
шестой...
И шумят очевидцы извечные липы и голуби,
голубятник заядлый над крышами машет
шестом.

* * *

Под воображаемый купол
на крестообразный каркас
ваяю пространство, как скульптор,
усилием пальцев и глаз.
Старательно мну по комочку
земную, как глину, судьбу,
затем и леплю оболочку,
чтоб разом разбить скорлупу.
Но вдруг, замахнувшись на рухлядь,
внезапный почувствую страх,
и напрочь отнимутся руки,
с подошв отряхнувшие прах.
Поднявшись к высоким истокам,
почувствую, словно внизу,
не быть мне всевидящим оком,
а только пылинкой в глазу.
Пускай я ослепну нелепо,
но, звездами очи коля,
за небом откроется небо,
которое пухом земля,
и там, где природа иная
вращает неправильный шар,
кувшин, изнутри обнимая,
р а з д в и н е т гончар.

* * *

Жилец истории новейшей
на грани Тигра и Котяры,
установив, что лучше меньше,
чем никогда, дышу хотя бы.
Мелькаю изредка в печати
на кромке скромности и позы,
на стыке смеха и печали —
хотя и в этом нету пользы.
Все одиноки в разной мере.
Не совпадает даже эхо
с радиобурями в эфире,
как атмосферная помеха.
До предпоследнего симптома
сложна житейская интрига:
жена, которая вне дома,
и безутешный муж-расстрига.
Вот, разозленный чрезвычайно,
бросаюсь к газовому крану.
Неужто встретились случайно,
а разлучаемся по плану?
Любовь этапа междуцарствий
до кранной степени ранима.
Мы так нуждаемся в лекарстве —
вплоть до постельного режима.

* * *

Екнуло сердце у Клавдии,
чуткое на ерунду:
птицы из Новой Зеландии
на Патриаршем пруду.

Явно закончилась песенка
серых и белых гусей.
Дряблою косточкой персика
канул на дно Колизей.

В тине окислился перечень
кинутых в воду монет.
Крякают утка и селезень —
эха возвратного нет.

* * *

Оплавились и обезлюдели
Морского вокзала ступени,
и совокупляются пудели,
которые по уши в пене.

Прибой наседает на бакены,
на всплывшие донные мины;
такой же, как между собаками,
не слышно любви между ними.

Сезон умирает без паники,
без разоблачений мороки,
бесхозных размеров купальники —
качели канатной дороги.

Владелица псов и бюстгальтера
(до лета — в гипнозе глубоком)
на пузо воздушного лайнера
глядит океановым оком.

* * *

Трижды стучали часы на стене,
в комнате смежной звенело стекло,
из-за сияния в каждом окне —
в снежную ночь до рассвета светло.

Воздух еще многослоен, как дым.
Будто навязчивых мыслей поток,
воображаемым ветром степным
в спальню с веранды проник холодок.

От притяжения лунного льда
белым холмом увеличился дол,
приподнялась над стаканом вода
и пролилась через блюдце на стол.

Пусть невелик беспорядок такой,
но, напрягаясь уже изо всех
сил, шевелишь онемелой рукой,
словно сметаешь растаявший снег.

Взмахом ладони на уровне плеч
тщетно пытаешься сделать заслон,
предохранить или предостеречь
смысл, ускользающий в прерванный сон.

Летучие мыши

Из полуразрушенной ниши,
сквозь ветхий чердачный проем
проникли летучие мыши
в мерцающий микрорайон.

Рассеянные киловатты
светильников разных систем
чертили полет угловатый
на бледных поверхностях стен.

Летучие твари. За ширмой,
покуда фонарь не иссяк,
на радость породе мышиной
висел насекомых косяк.

От мошек, глазами чуть видных,
Творцом завершенных едва,
до бражников самых солидных,
как мертвая голова,

природа заполнила ярус
такой разношерстной гурьбой,
назвав пожирания ярость
за существованье борьбой.

И каждую ночь, возбуждая
потуги бессонных умов,
в ней бодрствует нечисть живая
среди проводов и домов.

Неровные частые взмахи
развернутых кожистых мышц.
За все безотчетные страхи
в ответе летучая мышь.

За горечь фантазии бедной,
за каждую мрачную мысль,
за муки любви безответной —
в ответе летучая мышь.

Пускай поражает живучесть
и разнообразье пород,
не все ж — незавидная участь
быть символом наших невзгод.

Лишь тени нечеткий рисунок
случайно в окне промелькнет,
ребенок заплачет спросонок
и жалобно мать позовет.

* * *

Никаких сомнений быть не может:
правомочно высшее жюри
чередой морозов и жары
языки развязывать у мошек.
Только в дохлых песнях нет обмана,
потому любая Божья тварь
посреди гламурного тумана —
самый натуральный календарь.
Ведь не для того среди развалин
на раскопках города Итиль
ангелов когда-то рисовали,
чтобы я сказал: — Звериный стиль.

* * *

В полном имени — треть Александра.
От Подола в Купеческий сад
поднимусь. А за мной саламандрой
по газону вползет листопад.

Встречу полузнакомого бомжа
(много их забредает сюда)
и подумаю: «Боже, на ком же
до тряпья отыгралась судьба?»

Я немного моложе, но разве
до того уже вышколен сноб,
что меня обойдут эти язвы,
эта грусть и похмельный озноб?.

Чем же выделен так среди прочих
отставник, пожилой Козерог,
от осенних наветов и порчи,
чтобы шляться, не чувствуя ног,

по кустам, по пивным, по траншеям,
по Сувидским и Брянским лесам...
Неужели когда-нибудь шею
мне свернет Александровский сад?

Марья-Лена

В столице Лапландии Рованиеми
рыбак узкой финкой царапает имя
на вяленой рыбине. Тусклый фонарь
видать на просвет через тулово сельди,
как если на солнце смотреть сквозь янтарь,
как если на месяц смотреть через сети.

Рыбак узкой финкой царапает имя.
Прочесть невозможно глазами сухими,
на страшном жаргоне нельзя не кричать.
Табачные искры. Кристаллики соли.
Привычная трубка. Ножа рукоять.
И мертвая рыба рыдает от боли.

Но букву за буквой, безмолвно и твердо,
как будто ледник нарезает фиорды,
язык прикусив и смахнув чешую,
усилием воли, проворностью стали
рыбак продолжает работу свою.
И радость нельзя отличить от печали.

* * *

В лазарете щиплет корпию
милосердия сестра,
а высокоблагородие
щиплет мягкие места.
Вызов плоти абрикосовой
невозможно побороть.
После долгих битв с матросами —
наслаждения щепоть.
Исцелиться без посредника —
офицерская мечта,
если сзади нет передника,
нету красного креста.
В забытьи коснулся. Вроде не
куртуазный маньерист.
Ампутирована родина
в столбняке соленых брызг.
Черный Понт вздымает палубу,
полумертвый стонет груз...
Не напишешь туркам жалобу
на покинутую Русь.

Армения

Оставь у подножия дрожь и усталость,
пускай запинается грамотный чтец —
сквозь страх слово «страсть» произносится
«старость»,
но мы не меняем коней на овец.
Простор поражен, будто выстрел ружья,
но возраст людей измеряют веками.
И, словно шаля, допотопные камни
легко поднимает мизинец ручья.
Из тьмы непроглядной подземного лаза
взойдя по корявым извивам лозы,
сияет в зрачке виноградного глаза
одухотворенное пламя слезы.
Как будто средь ясного полудня кто-то
нездешний, по внешнему облику — гость,
свечные огарки выносит из грота
и лепит руками нелепую гроздь.
Не каждому встречному это под силу,
перстом безымянным на Млечном Пути
над каждым младенцем зажечь по светилу:
— Свети!

Здесь так очевидны в душе и во взоре
овчина лугов и вершин седина,
бушует ошуюю Черное море,
каспийская бьет одесную волна.
Вдруг эхо такой стариной отзовется,
когда, заряжаясь от сабель кривых,
в магнитных подковах Месропа Маштоца
почувствовал силу армянский язык.
Прописаны буквы, как звенья кольчуги,
замесом чернил на крови и золе...

Чело положив на усталые руки,
неведомый мастер сидит на скале.
Вернее, в скале, и «Мыслитель» Родена,
веками сокрытый в глухом валуне,
с чуть слышным акцентом поет вдохновенно:
« Кавказ подо мною. Один в вышине...»

* * *

Гортанные слышу звуки,
хлопки волосатых рук.
Листают башибузуки
тургеневский «Бежин луг».

Чужая душа — потемки,
но светится город Керчь.
Моряк утащил у тетки
учебник «Родная речь».

Беспечные волны пляшут
протяжные, как гудки,
и с воплями: «Бяша, бяша!» -
хватаются за грудки.

А месяц кривой и узкий
оскален беззубым ртом.
Челночный паром стамбульский
не вырубишь топором.

Полесье

1.
Я в ночном восьмилетнем саду,
в полусне, в полосе невесомости
ощутил притяжение совести
у безлюдных планет на виду.
Там по пояс белели стволы
и струилась волна испарения
просветленная, как озарение,
через фосфорный слой полумглы.
Там секунда полгода текла
в световоде качнувшейся яблони,
и от переизбытка тепла
обменялись два атома ядрами.
А потом две соседних звезды
полыхнули оранжевым спектром,
будто эти сигналы беды
наугад были посланы пеклом.

2.
В укромном углу бесконечной вселенной,
в деревне какой-нибудь обыкновенной,
в глубинах холодного времени года
представлена зримо родная природа.

Когда восходящий поток снегопада
возносит деревья над уровнем сада,
тогда повседневная наша забота
сменяется древним инстинктом полета.
Чтоб каждый проникся такой неподдельной
тоской безотчетной, печалью метельной,
но эта печаль не доступна для слуха,
как шаль — из тончайшего козьего пуха.

3.
Полесье — самый лучший лекарь,
когда, оставшись сам на сам,
брожу пешком, как местный егерь,
по здешним смешанным лесам.

Неутомимо и заядло
перекликаясь день-деньской,
стволы осин гвоздят два дятла:
трехпалый дятел и седой.

Как после длительной болезни
преувеличен каждый звук,
и до абсурда бесполезны
плоды естественных наук.

В начале бодрого столетья,
в минуту слабости своей
я не стыжусь просить бессмертье
у птиц, деревьев и зверей.

Но, лишь разбрасывая стружку
в разгар атаки лобовой,
мне отвечают за кукушку
трехпалый дятел и седой.

* * *

Если Верхний и Нижний вал
разгоняет один бульвар,
то, качаясь, бегут валы
до Баку и Махачкалы.

Чуть поодаль цветет каштан,
засоряет сырой фонтан,
где Самсон покорному льву
гарантирует: «Пасть порву».

Так облезлая дребедень
изгаляется по сей день.
На изнанку вывернут лев,
почему-то не околев.

И валы отвалили вспять,
на Махачкалу им начхать,
им до лампочки порт Баку —
это видно и дураку.

Потому что всюду теперь
за хвостом гоняется Зверь,
завывает подземный Змий,
прозревает ослепший Вий.

Но звенит Контрактовый дом,
там по клавишам бьет перстом
сногсшибательный Ференц Лист,
композитор и пианист.

Полнолуние

Приближается час полнолуния,
час, когда прогремит надо мной
сил небесных внезапная уния
с пробужденной подземною тьмой.

Сладкой крови прилив и восстание
ограниченных берегом вод.
Плод запретный на древе познания.
Карусельных зверей хоровод.

Королевский олень. Полоумная
голова ни жива, ни мертва,
целиком уходя в полнолуние,
с перекошенной бледностью рта.

Конь орловский. Очей полнокровие,
равнобедренный гипсовый свет —
по карнизу крадется атлет
и атлантом выходит на кровлю.

Из дремучего мрака, из месива
дыма горького, туч пелены

появление не полумесяца,
а божественно полной луны.

Сколько лет от беспомощной робости
мой язык, словно к небу присох,
не хватало лишь этой подробности —
завершающий яркий мазок.

Это жизни моей полнолуние,
восхождение под полонез
к полуночному пику небес,
где рассудок на грани безумия.

Это шаг от смешного к великому.
Злободневный прервется полет,
солнцеликий брат лунноликому
мускулистую руку пожмет.

* * *

Глубже и темнее с каждым годом,
как на саксофоне серебро,
по глухим подземным переходам
проникает музыка в метро.
А на «Театральной» видел сам я:
от избытка гормональных сил
дирижер подпольного ансамбля
театрально руки разводил
и сводил. Задергивались двери,
и казалось, что у скрипача
на плече сидел Джузеппе Верди
и рубил мелодией с плеча.
Озирался грифом однокрылым
на тотальный паспортный контроль.
Клокотала, хвойным пахла мылом
радиальных линий канифоль.

Суетой финала не испорчу.
Под сурдинку, под виолончель
в кольцевую ввинчиваюсь почву,
как Неглинка или карусель.

* * *

На Привокзальной площади слепец
казался побратимом великана —
одной рукою два фортепиано
демонстративно ставил на торец.

Гофрировано музыка текла
в чаду локомотивном и тумане,
как будто лужа в черном котловане,
мерцала медь на бархате чехла.

Он замыкал в невидимую цепь
платформы с бахчевыми и цистерны —
все железяки солнечной системы
осоловело слушали концерт...

С полузабытой дерзостью пройдусь
по тем же самым шпалам и регистрам.
Аккордеон перронами расхристан,
располосован хлеще, чем арбуз.

Пока среди товарной шелухи
сопит в охапке коронарный клапан,
сжимаются в тяжелых, нежных лапах
с четвертой цифры новые мехи.

* * *

На пятачке без кипарисов
у ресторана «Бельведер»
белиберду без компромиссов
нес музыкальный офицер.

Лейб-капельмейстер без оркестра
закладывал за воротник,
а на веранде — много места,
как на скамейке запасных.

Коньяк и водку дул сердито
обжегшийся на молоке.
Я знал, чем хуже композитор,
тем больше яда в кулаке.

Был понедельник или вторник —
определить никто не мог,
от пузырей ломился столик,
официанты сбились с ног.

А баталист на самом деле
не ведал, в чем его вина...
Как хорошо, что в Коктебеле
уже закончилась война.

* * *

За туннелями — мосты,
а в турбинах — вихри тока,
долго из Владивостока
поезд мчится до Москвы.
Неустойчивая твердь
прет со скрежетом и скрипом.
Я болею дифтеритом
и покорно еду в смерть.
Силы неба и земли
на одном из перегонов
спровоцировать смогли
бунт физических законов.
Ослепительный Байкал
заворачивают в свиток
между рельс и между шпал
на катушку жидких ниток.
Слабо верится теперь
в то, что вылезу из доли,
что увижу Коктебель,
что на киевском Подоле
я на будущем витке
буду жить внутри столицы,
сочинитель бледнолицый
в чернокожем пиджаке.

Буколика

Любой человек поневоле философ,
пока не отыщет приют и ночлег,
а дождь на ветру превращается в снег
и мчит в направлении Яворов — Косов.
Тем паче, что медленно, как эскалатор,
в грибах или в месиве ножек и шляп,
под тяжестью спальных мешков и палаток
навстречу нам оползнем движется шлях.
Ползут саламандры по склизкому склону
оранжево-черными петлями букв
туда, где в тропу погрузил свою крону
до праха истлевший поваленный бук.
Царапают куртку кусты ежевики,
коренья и листья скользят под ногой.
на грани потемок и света, на стыке
гранитное небо прогнулось дугой.
В округе (на час напряженного хода)
навалено глыб и наломано дров,
а то водопойная булькнет колода,
а то прозвенят погремушки коров.
И, слившись со звоном в ближайшем селенье,
возносится гул над горами, как птах,
и грустные овцы стоят в отдаленье

в пружинящих воздух густых завитках.
На сваях — овин, переполненный сеном,
но рядом с овчарней на наших очах
из тьмы обозначился сруб-пятистенок,
а, главное, в срубе — горящий очаг.
Работает пламя над каждым поленом,
как трудятся над червяком мураши.
Обычное мнится необыкновенным,
когда совпадает с желаньем души.
Пылают в печи довоенные стружки,
и от выделений такого тепла
вскипает вода родниковая в кружке,
как будто становится кружка мала.
Примерно двенадцатого в половину
раздался в окно волоковое стук —
немного стесняясь гостей с полонины,
в свою же избу постучался пастух.
Калоши на привязи, фетр чуть засален,
по шву разошелся рукав пиджака,
ведро бараболи принес нам хозяин
(картошки по-здешнему) и молока.
Хомут лошадиный, собачий ошейник,
ремень офицерский повисли вдоль стен...
От многих забот был избавлен отшельник,
но смерть — это тайна, доступная всем.

Вздымались над плоскостью давние судьбы,
где люди слегка походили на птиц,
пока молчаливый владелец усадьбы
показывал выцветший дагерротип.
Торчал из-за матицы вниз рукоятью
старинный австрийский охотничий нож.
И чудилось, над деревянной кроватью,
как будто в колодце, колеблется ночь...

Не каждый источник становится устьем,
но если, завидев навоз и кизяк,
рискнешь этот хутор назвать захолустьем,
немедля от кривды отсохнет язык.
За неблагодарный удел земледельца,
за чахлые клубни, хранящие яд,
в горах полнокровней усилия сердца,
целебней надои рогатых говяд.
Уверены телодвиженья пастушьи,
когда ж козопасы с соседних террас
попробуют песней осмыслить поступки,
не с первого раза поймет их турист.

«Лучи на траве, как ручьи полотенец.
покорного льва и вола
по ранней росе босоногий младенец

ведет от села до села.
Пасется корова с медведицей вместе.
В куртинах ромашек и мят
размеров одних, одинаковой масти
бок о бок детеныши спят.
Питается лев во хлеву, по-коровьи
соломой и сеном хрустя.
И, сунув ручонку в нору под коренья,
с гадюкой играет дитя...»

В тумане молочном и зябко, и сыро,
но вот на рассвете рассеялась мгла,
и выпуклый сектор сычужного сыра
внезапно возник посредине стола.
Как будто искусственный орган дыханья,
он самостоятельно начал расти
и вырос от краеугольного камня —
аж до кафедрального храма почти.
Над местностью тронутых молью хребтов,
над нами незыблемым символом веры,
надеждой ее поредевших рядов
клубился мерцающий купол Говерлы.

* * *

Как слушали столетия назад
кувшин, свечу, сверчка, часы с кукушкой,
как шум прибоя слушали в ракушках, —
я слушал снег, я слушал снегопад.
Я слушал снег — гуляние и крик
при массовом стечении народов,
листовками из толстых самолетов
рассыпанные рукописи книг.
Я слушал снег, который говорил
назойливыми белыми словами,
летящими в пространство куполами,
серебряными маршами перил.
Я слушал снег и домики на снос.
Я слушал птиц живых и замороженных.
Я слушал ветку железнодорожную
и старый маневровый паровоз.
Я слушал снег и Киевский вокзал,
где жизнь людей видна, как на ладони,
в обычном цвете, запахе, объеме.
Я слушал снег во все свои глаза.
Я слушал снег. Я слушал детский смех
и детский плач, и рев больного зверя.
И мотылек стучал в стекло сквозь снег.
Я слушал и ушам своим не верил.

Танцующая бабочка в окне,
чьи коконы раскручивались в смерчи...

Я слушал снег в таком глубоком сне,
как до рожденья или после смерти.

* * *

Старая кладка гранитной скалы.
Между побегов плюща или ивы
узких ужей шевелятся узлы
и валунов повторяют извивы.

Флора и фауна, уголь и нефть
пересеклись в ледниковых обмылках.
Что же пульсирует в серых прожилках?
Жизнь? Или смерть?

Соревнование пира и траура?
От совпадения с тенью моей
зыбкая тень коренастого тавра
выглядит глубже и вдвое темней.

Где же начало заброшенной штольни?
Как под давлением в шесть атмосфер,
взгляд упирается в жуткий барьер,
даже зрачки цепенеют от боли.

Может быть, ключ, отпирающий дверь, —
ящерки знак или буква расщепа,
корня рельеф или оползень щебня, —
лишь прикоснись, и раздвинется твердь?

Автоответчик не слышит истца.
Колко впиваются в кожу ладоней
крошка гранитная или пыльца
окаменевших шмелей и бегоний.

Труднодоступные эти места —
периферия чужого маршрута.
Грубые сгустки заверчены круто,
да и внутри — ни норы, ни гнезда.

Слепки

Сопротивление формы, как правило, только
в настрое:
взять себя в руки и копию снять без
промашки.
Где воплощение первое, там и второе,
значит, нужны для сравнений посмертные
маски.
Эти кустарные штуки сродни ширпотребу,
декоративные идолы — в каждой витрине.
Есть мастера знаменитые — режут по древу,
есть прикладные умельцы — работают в глине.
Я вдохновлялся податливым воском и гипсом
так, что порой не хватало для этого суток,
невоплощенные замыслы жгли мой рассудок
позднеантичной эпохой и Древним Египтом.
Сам отвергал, как набивший оскомину навык,
спесь знатоков, суету бестолковых клиентов,
видя в привычных предметах предчувствие
новых
неуловимых слияний простых элементов.
Сглазить боялся, стыдился обмолвиться всуе
(гасли усилия воли в бессилии лени),
полупустыми ладонями воздух тасуя:

шероховатости, сгустки, пустоты и тени.
Внешне рассеянный (путал друзей и знакомых),
ни на секунду о завтрашнем дне не заботясь,
что воскрешал наложением рук невесомых
под непрерывным воздействием ложных
гипотез?
Что проступало и что оставалось за кадром
в этом реальном до зрительной рези
пространстве?
Мимику жизни нельзя разглядеть под
скафандром,
необходимым для долгих скитаний и
странствий.
Тьма пролетает над миром со скоростью света,
а тишина измеряется уровнем звука —
нерукотворный процесс изменений портрета
даже в таком изложении выглядит сухо.
Трудно солгать как фотографу: «Вылетит
птичка», —
там, где душа улетучилась облачком влаги…

Спичкою трону листы — возгорается спичка,
словом черту подведу — загорятся бумаги.

Дом Мицкевича в Вильнюсе

Сойдутся народы, про распри забыв,
на маленьком дворике в городе Вильно.
Не глядя на дождь, моросящий несильно,
на плач беспросветный и скрежет зубов.
Еще до нашествия за полчаса
зайду, чтоб не видеть затоптанных горлиц,
в настой пустоты просмотрю все глаза
и вымолвлю слово, застрявшее в горле.
Но только попробую — тут же солгу,
чистейшая правда — всегда за душою.
Какое-то дерево чахнет в углу,
и что ему слово мое и чужое.
И что ему крымский прославленный сад,
и даже графини Потоцкой могила —
его посадили лет десять назад,
ему круглосуточно лампа мигала.
Растрескали корни четыре плиты
в цементном кольце у трубы водосточной,
отросток священного дуба Литвы
с трудом извивается буквой восточной.

Зачем я приехал сюда в сентябре,
перчатку паненки, как будто улику,
нашел на мощеном кирпичном дворе?
И мертвый Мицкевич меня не окликнул...

* * *

«У смерти нету репетиций» —
так и написано на лбу.
С чужих могил взлетают птицы
под похоронную стрельбу.

Галдит пернатая армада,
пока воронкою живой
в небесных недрах снегопада
зависнул выстрел холостой.

От ритуальной перепалки
бегут кладбищенские псы,
но давит мрак на перепонки,
как будто пища на весы.

Сугробов комья, грунта жмени...
И рикошетный штатский гром
потешен вплоть до пораженья
огнем, прикладом и штыком.

Нога цепляется за заступ.
Рука хватается за бок...
И ослепительно глазастый
из-под земли нас видит Бог.

Мера

1.
Млечный путь над песчаным проселком
светел так, что достанешь рукой.
Рассказал бы мне кто-нибудь толком
о неведомой жизни другой.

Сгусток мрака становится елью
и шеренгой колючих монад,
так и будем шагать параллельно,
как солдаты из разных команд.

Заморочено, буднично, слепо,
и мозгами едва шевеля,
и опять отодвинется небо,
и поднимется стенкой земля.

За березами белого мела,
за древесного угля сосной
исполняется высшая мера
над последней заботой земной.

И хотя небосвод-работяга,
любопытный живому уму,

впереди-то всего на полшага,
торопиться уже ни к чему.

2.
Я не хочу быть насильно мил,
если еще не настал мой срок,
если настолько же тесен мир
потусторонний, как Древний Восток.

Не убеждают меня ничьи
мысли о том, что нам ясен путь.
Но, чтобы там избежать толчеи,
тело пока остается тут.

Пусть небосклон виден не весь,
ближе к распахнутому окну
преображается каждая вещь
и мотыльком летит на Луну.

Входят предметы один в один
и образуют живую смесь.
Кажется, дважды нельзя войти
только в одну и ту же смерть.

Но не об этом болит башка:
за воображаемой полосой
вместо вина — стакан песка
и собутыльник какой-то злой.

* * *

Особняк построил Городецкий
из песка, цемента и воды.
Красные и белые гвардейцы
арматурно вывихнули рты.

И пока не приняло кривлянье
стоматологический размах,
быстро поменяли киевляне
номера и флаги на домах.

На лету к Вальпургиеву зонгу
прицепил фундамент виртуоз.
До сих пор басит за горизонтом
тыл кирпичный или паровоз.

Осаждают звери и химеры
стены, словно беженцы — состав.
Как же он дошел до нашей эры,
если нумерация с хвоста?

Если не Всевышний месит кельмой,
а помельче кто-нибудь, с рукой,
и горят огни святого Эльма
железобетонной лепотой.

Я и сам готов дойти до ручки,
но хотел бы много-много лет
в самовольной числиться отлучке
в случае неявки на тот свет.

Ведь согласно устному рассказу,
горняки, спешащие в забой,
извлекают камни из-за пазух,
чтобы взгромоздить над головой.

Бонапарт, в короткий срок рекордно
захватив долину пирамид,
объявил, что это — терриконы,
и теперь всемирно знаменит.

Лучше быть кочевником, пропавшим
добровольно без вести в пыли,
чем форсить надгробьем черепашьим
с лаконичным текстом «пуп земли».

Так поэт созвездия Треченто
описал зачем-то этот ад,
дабы Сфинкс, с утра на четвереньках,
над загадкой мучился, как гад.

Череп

Наивна и тверда рассудочная смелость
природы неживой в подобиях живых,
но даже горнякам претит окаменелость
первичного сырья открытых кладовых.

Не станет никому ни холодней, ни жарче
от ледниковых глыб, от идолов нагих,
когда на полпути остолбенеет в кварце
в беспамятстве глухом обыкновенный миг.

В светильнике чадит подсолнечное масло.
Подробностей лица не помню, как на грех,
пытаюсь воссоздать заведомо напрасно,
чтоб горлом ощутить напор подземных рек.

Пусть ношею вины усиленные трижды
страдания одних спасут других от мук,
в мешке из-под угля мертвы и неподвижны:
гадюка, обезьяна и петух.

Седым известняком изъеденные гильзы,
да черепа голыш, не тронутый сохой,

белеет на меже который год без пользы,
и тень его ползет улиткою сухой.

Сменяет лишь закат полуденную сухость
на влажность двух глазниц, наполненных
росой, —
сквозь угловатость скул и лобную безуглость
восходят из глубин и сок земли, и соль.

* * *

Гнал порожняк, открывая баул,
прыткий жонглер булавой и цилиндром,
под кокаином седым цеппелином
в рог изобилия зрение гнул.
На мешковине воздушные швы
лопались тушками рыбы и мяса,
и доходил до поверхности Марса
краснознаменный массаж головы.
Небом съедобным астральный босяк
был отоварен с таким закидоном,
что до сих пор шевелится за Доном
черная почва на белых костях,
а совместимости между людьми
до известковых извилин ослабли;
постановили: вытаскивать сабли,
чтоб отменить наказанье плетьми.

* * *

С утра вокзала здание
заляпано дождем,
но в зале ожидания
состава мы не ждем.
Неистово целуемся,
лобзаемся взасос.
Какая же ты умница.
Какой же я барбос.
Какой восторг питательный
для вен и для аорт —
подогнанный, приталенный,
с иголочки фокстрот.
Зажмуренными лицами
мы так друг к другу льнем,
что вздрагивает искрами
загубленный объем.
Но все скамейки заняты,
стоим в обнимку здесь
в лучах транзитной зависти,
хоть люстру перевесь.

* * *

После дождя земноводных ор
жалобней мотоцикла,
словно заслуженный дирижер,
паузу держит цапля.
Близится переселенье душ:
переставляя грабли,
птица пинцет макает в тушь,
смачно роняет капли.
Ей, лягушатнице, невдомек
певчих телец ужимки,
горлышку чайному поперек
выворотка кувшинки.
Жабоглотательный горизонт
всхлипнет и распрямится...
цапля похожа на сложенный зонт,
зонт с поломанной спицей.

* * *

Течет по кругу постепенному
двойник небесного Днепра,
в бассейне темном по-осеннему —
музей железного добра.
Как по заказу перед путником
ведра неправильный цилиндр,
раскрывшись рыцарским нагрудником,
пиявку дужкой шевелит.
Очнется в донной куче лишнего
кровинка, дохлая чуть-чуть,
чтоб в чутком замысле Всевышнего
прививкой глину всколыхнуть.
В сырой воде худышка тесная
замкнется в магниевый треск,
и — Круглоуниверситетская
всплывает вспышкой на Печерск,
срывая штанги у троллейбуса...
Но только руку протяни —
коровий хвост из «Книги Велеса»
получишь вместо пятерни.

* * *

До сих пор не верю гороскопам,
потому что сам не из села.
Над могилой Дира и Аскольда —
униатской церкви купола.

В долгом ожидании ремонта
помер краеведческий музей,
кончилась подземная дремота
киевских доверчивых князей.

Новую сусальную солому
шевелят небесные пески —
значит, не отпели по канону,
не похоронили по-людски...

Может быть, ошибка или промах,
адекватный прихотям весны:
на отшибе неба и на кронах
ветошь раскаленной белизны.

Из нее какой-то сучий потрох,
водки выпив целое ведро,
тоже не по чину выбрал погреб
и на рельсы бросился в метро.

Но колеса даже не задели
клочья запылавшего тряпья,
выполз недоносок из купели,
вроде альбиноса воробья.

На глазах людей и рыбы редкой,
обитавшей в пропасти Днепра,
в город возвращались души предков,
мухи улетали на гора.

Тлели шкуры саблезубых тигров,
рысью искры сыпались на дно...
Все равно, я не увижу титров,
если жизнь прокрутят, как кино.

* * *

Назойливо шурша корою по коре,
то близко, то немного в отдаленье
бесснежная зима пылится во дворе,
разомкнуты, бессвязны впечатленья.

Песчинку языком почувствую во рту,
прислушаюсь к древесному дыханью,
всмотрюсь через стекло в сухую темноту,
созвучную морозу или камню.

Пятиэтажный дом. Два дерева. Скамья.
Фигуры ежегодной карусели
разрозненной гурьбой плывут вокруг меня,
из ночи проступая еле-еле.

Терпение стволов и жалобы ветвей
над мерзлою асфальтовою сажей
с рожденья моего — на совести моей,
а может быть, гораздо раньше даже.

Как будто — подглядел существенный изъян
в невероятном, зыбком равновесье
ускоренных частиц и медленных семян
и мучаюсь от странного известья,

что, если я в кулак всю волю соберу,
когда-нибудь потом, за смертной гранью
в нетленный белый свет всмотрюсь
через кору,
прислушаюсь к древесному дыханью.

Дом Ричарда

Сжимает улица простор,
к Днепру бежит с трамвайным звоном,
а наверху ни парк, ни двор,
а просто холм, прикрытый домом.

Произросла над мостовой
архитектурная нелепость:
фасад развернутый как крепость
и холм с кустами и травой.

Крутые склоны с трех сторон,
строптивый холм ничем не занят.
Клочок, нетронутый дизайном
декоративных мастеров.

За гребнем башен для жилья,
за лабиринтом, по спирали
лежит обычная земля,
как будто город разобрали.

Здесь все восходит к небесам.
Быть может, в башенке пузатой
в начале века жил писатель

и даже книгу написал.

А может, не жил... Нынче тут,
хотя все окна, как бойницы,
одни аптекари живут
и санитарки из больницы.

Скрывает замок пожилой
скамеек выцветшие доски,
столбы с веревкой бельевой
и разговор людей подольских.

Не обоснованный никем
музей Андреевского спуска
стоит над улочкою узкой,
как чужеземец в парике.

* * *

Над третьим этажом мой дом имел мансарду,
на первом этаже мой дом имел аптеку.
В былые времена случалось и взаправду
средь ночи со двора стучаться человеку.
Сквозь старый дерматин, слой войлока
и пакли
на мертвом языке читать скороговорку,
чтоб двери приоткрыть в дежурную каморку
и после принимать спасительные капли.

В строительных лесах, как в древнеримских
числах,
запутавшись в прямом и в переносном
смыслах,
не требовал мой дом на площади Победы
ни капремонта, ни искусствоведа.
Лебедки ржавый трос обвил кариатиду,
но обнаженный торс величием телесным
еще напоминал всем корифеям местным
руки Делакруа известную картину.

Потоком в шесть рядов спешат автомобили,
взлетают с двух сторон высотные строенья,
а там, где был мой дом, посажены растенья —

в проеме городском зеленый сквер разбили.
Вот настежь у двора распахнута изнанка,
палатка «Пиво, квас», цветов полезных
грядка...
В два пальца б засвистеть для пущего
порядка,
пусть праздный ротозей подавится баранкой!

Сквозь времени пролом, назло всему кварталу
поставив на попа три парковых скамейки,
с карманным фонарем на плоской батарейке
я в полночь заберусь в прозрачную квартиру.
Но в комнате моей развеялись с годами
и сдобный аромат лукъяновской пекарни,
и медный перезвон соборной колокольни...
От дома номер два остался лишь фундамент.

* * *

В тесной комнате без телефона,
если выпить чего-нибудь литр,
на Верблюда и Хамелеона
открывается с лоджии вид.
В заповеднике, как в зоопарке,
маринованный ест баклажан
пропотевший толстяк, а на майке
крупно текст — МИРОВОЙ ОКЕАН.
Поселковый шагающий глобус
(фотографию вышлю потом),
на дневном полушарии соус
растекается материком...
То хожу босиком, как Волошин,
то слыву каботажным пловцом —
в доме творчества мне не положен
даже ужин с куриным яйцом.
Говорят, в сопредельной державе
принудительно вводят ранжир,
и какой-то бездарный мерзавец
на тебя уже глаз положил.
А в издательстве «Гамсун и пряник»
для смешения правд и неправд
вместо сонника выпущен явник,
календарь летаргических дат.

Если так, по мобильному свистни,
не умеешь свистеть, кашляни.
Я твой чокнутый спутник по жизни,
одинокий в последние дни

Ассистентка

Перламутровее мидий
подоплека немоты.
Пианист почти не виден,
потому что рядом ты
перелистываешь ноты,
отзвучавшие значки
норовят попасть под ногти,
как рыбацкие крючки.
В напряжении покорном
ворошишь ручную кладь,
чтоб умолкнувшим аккордом
окровавилась тетрадь.
Каждый жест окрашен крапом.
Не рискну, безухий жлоб,
улизнуть манящим крабом
из партера в гардероб.

* * *

Опять в обручальную муфту
запальчиво хлещет напиток,
ты нравишься каждому фрукту,
который до мякоти липок.
Пчела в очумелом ликере
пульсирует рядом покамест,
как флокен — в медузе, но море
спасительней пойла в стакане.
Твой пасечник, будто в отрубе,
в наморднике и рукавицах.
Крылатым товаркам по клумбе
примером служи, медуница!
Отведав сиропа и спирта
из чанов средиземноморских,
начнут пирамиды Египта
играть с фараоном в наперстки,
марать колпаки усыпальниц
дактилоскопической мутью…
Но разве не чувствует палец,
что сердце — под левою грудью?

* * *

Когда освещают фонарики
у каждого столика круг,
легко подхвачу тебя на руки,
чтоб ты не отбилась от рук.

Чтоб ты не наделала глупостей,
готов я часов до шести
средь светлых и темных окружностей,
к себе прижимая, нести.

Воскликнешь: «Дурацкие выходки!»,
очнувшись на ярком звене,
и, как по кабине для высадки,
начнешь колотить по спине.

* * *

День пасмурный. Земля в песчаных змейках.
На дне грядущих луж уже чернеет ил.
Как сыро и темно на парковых скамейках
в беседке из ветвей от сросшихся двух ив.
Как тесно под землей ее живой начинке:
и дождевым червям, и майскому жуку,
точней сказать, его уродливой личинке.
Как тянет изнутри на верхнюю труху.
На сероватый свет, на запах древесины,
на серебристый след улитки с колпаком...
Хотя среди листвы не видно паутины,
я чувствую ее щекою и виском.

* * *

Очухался межигорский затворник,
острю на пляже:
что «Украинско-женский разговорник»
уже в продаже.
Миллениум сравнил с палеолитом.
но с каждым годом
внимательнее к туловам и лицам
в связи с уходом.
С оравою на рынке уцененном
с ехидцей той же
ору за скандинавским пацаненком:
— Монарх под кожей!
Периферийный риск и високосный
сровнял с асфальтом...

Поклон тебе такой молниеносный,
как будто сальто.

* * *

Оплавились и обезлюдели
Морского вокзала ступени,
и совокупляются пудели,
которые по уши в пене.

Прибой наседает на бакены,
на всплывшие донные мины;
такой же, как между собаками,
не слышно любви между ними.

Сезон умирает без паники,
без разоблачений мороки,
бесхозных размеров купальники —
качели канатной дороги.

Владелица псов и бюстгальтера
(до лета — в отказе глубоком)
на пузо воздушного лайнера
глядит океановым оком.

* * *

В лифте пахнет уксусом —
чую мимикрию,
обездвижен ужасом
потерять Марию.
К этажу последнему
вознесен обидой,
зябко не по-летнему
в яме под кабиной.
Леденеют: лестница,
кабель и канаты.
Аварийно светится
перламутр помады.
Северным сиянием
въелся иней в краску.
Перед расставанием
шахта — нараспашку!
Перед углублением
в недра верхотуры
встречу с изумлением
скальные скульптуры.
Пионерка с кроликом,
девушка с веслом
подсекут символикой
с лета, как серпом...

* * *

Боковые места в плацкартном вагоне,
кондуктор или неверующий Фома
прикладывает к ребрам свои ладони,
раскачивает полку, как гамак.

По коридору, глубокой ночью,
в железный тамбур, где лязг и гром,
перемещается всяк на ощупь,
рискуя глазом и животом.

Вагон свернулся, и центре шара
среди людей и овечьих шкур
играет сводный оркестр пожарных
и старшеклассников средних школ.

А между стекол оконной рамы —
заледенелый высокий писк,
и поезд встречный, как пилорама,
вонзает в полку зубастый диск.

Неудержимо течет пространство,
и чередуются на весу:
то дебаркадер ночного Брянска,
то полустанок пустой в лесу,

то от земли и до неба грохот,
и строй трассирующего моста
то рассыпается, как горох,
то разбивается, как хрусталь.

А я в дешевом комплекте спальном,
снаружи видимый и внутри,
как в магазине универсальном
при переоформлении витрин.

Вокруг меня — штабелями шпалы
и без названия водоем,
и старшеклассники средней школы,
и дом обходчика с фонарем.

И тусклый свет над чужой верандой,
и равнодушный уют чужой
мерцает елочною гирляндой
и липнет рыбьею чешуей.

* * *

Уникальный загар подмышек —
ты успела расклеить ласты
от купальника до лодыжек.
От Алушты до Ласпи
нас наглядно сближали пляжи,
бухты, лестницы и причалы.
Самолетные фюзеляжи
унизительно разлучали.
Не беда, что среда отвергла:
проститутки, барыги, урки.
Скромно, урнами став для пепла,
жрут рапаны окурки
и судачат, мол, на безрыбье
Ихтиандр переспал с русалкой...
Рому в рюмки плеснем и выпьем
за фантастику. Залпом!

* * *

Что не сокол — то извини...
Низкий старт и высокий финиш.
Показался бы раньше Финист,
ты б не знала про феминизм.

Вновь за каждым твоим бедром
убедительно ходят руки —
приземляются Нибелунги
на закрытый аэродром.

Чтобы я, проглотив язык,
вавилонился вольным стилем,
одноглазым автомобилем
кувыркается мотоцикл.

Не встречался еще Подол
с агрессивным таким апломбом.
Термоядерная секс-бомба,
как бикинится твой атолл!

Океанские соловьи,
лунноклювые великаны —
приводняются пеликаны
аллегориями семьи.

Продвигаемся по шкале:
от бактерии до медведя.
словно волнами по скале,
по трубе тарахтят соседи.

Машинально ладонь скользит
вверх над раковиной ушною,
прорицательной и ручною,
как рунический алфавит.

Диспут

Однажды, сплюнув на огонь,
сказал свою цитату Тацит:
— теряет пищу и ладонь.

Но спорил Сцевола Гай Муций,
который сжег-таки кулак:
— Без отрицательных эмоций
мы не насытимся никак.

* * *

Ресницами глупо хлопать
до лютого февраля.
Нельзя укусить за локоть
синицу и журавля.
Прикинь: под ливанским кедром
на Варну отходит барк.
Тугим океанским ветром
гудит Воронцовский парк.
Купальников лен и хлопок
прозрачней, чем гамаки.
Морские коньки от попок
отбрасывают коньки.

* * *

Если канул в зеркале битый час,
значит, он уже лепрозорней тени.
Безнадежно ждут на фуршете нас.
Время тратит прелести не за деньги.
Там - живая музыка и бильярд,
метрдотели, бармены, вышибалы...
Здесь — живая женщина высших баллов
под крутыми джинсами без белья.
Пятипалым роем клубится лак,
поправляя локоны и бретельку.
Я хочу сильней, чем толпа зевак,
поглазеть на лобстера или дельту.
Но нерастаможены «здесь» и «там»,
разрешая нам кувыркаться в паре,
заставляют мыкаться по углам,
словно дым, скукоженный в портсигаре.

* * *

Попытка свой бездарный возраст
кустарным способом спасти,
что уповать на свежий воздух
из электрической сети.
Щелчок подкожного разряда,
сводящий заумью с орбит
весь повседневный распорядок
на шебутной богемный быт.
Повтор в программе произвольной
для исполнителя — пробел.
Контактно и аэрозольно
от встречи я осоловел.
И льются волосы, нарзаном
голографическим светясь,
ваяют нюх и водят за нос
из вероятного — в сейчас,
в настройку стона, или в тихий
чулочный обморок двойной.
Густой прозрели облепихой
фаланги, полные тобой.

* * *

В угодьях водных и лесных,
рождая речь простых созвучий,
и дикий зверь и гад ползучий
не знает истин прописных,
когда, куда ни посмотри,
равно за глазом безоружным
происходящее внутри
происходящему снаружи.
Но есть такой в природе свет,
передающий звук и запах,
в котором чувствуешь внезапно
на рубеже враждебных сред:
печаль пчелиную, тоску
осиных гнезд и хохот птахи
волнообразный, словно взмахи
тяжелых крыльев по песку.
Откуда он в меня проник,
достигнув высшего накала,
чтоб, просветленная, на миг
душа на цыпочки привстала?
Ползет ли кроха-муравей,
плывет ли рыба на стремнине —
все откликается отныне
в глубинах памяти моей.

Смогу ли я живую прыть
полупрозрачного растенья,
не повредив его строенья,
в живую строчку превратить,
чтобы раскрытый наугад
мой стих гербарием не высох
и отозвался на губах,
словно обычный вдох и выдох?

* * *

В паспортный стол направляются просьбы:
если с повторами есть нелады,
в классификацию нынешних прозвищ
необходимо добавить латынь.

Ведь узнавая родных без усилий
по бородищам или усам,
мы отличаемся не по фамилиям
и не по собственным именам.

До отделения слова от жеста
и кочевых от оседлых племен,
до переименования Ижевска
список фамилий был списком имен.

Но развивалась система понятий,
и расширялся фантазий простор
рядом специальностей, родом занятий,
перечнем руководящих постов.

Не понимая, зачем это нужно,
кто-то составил ономастикон,
где перепутались служба и дружба,
правда и кривда, кулак и закон.

Так у дворян бытовала традиция:
действует или не действует хмель,
каждого встречного однофамильца
надо всегда вызывать на дуэль.

А в государстве реальном и мнимом
сходные данный разных особ
многих заставили под псевдонимом
в поте лица добывать свой кусок.

Однофамильцами крови и кожи
из-за омонимов в списках жильцов
столько написано книжек похожих,
столько настроено копий домов.

Столько назначено лишних свиданий,
столько расторгнуто брачных уз,
что и родне своей близкой и дальней
я обозначить пределы боюсь...

А в гарнизоне под Наро-Фоминском
путая мысли у ротных старшин,
перекликаются однофамильцы —
или отец, или брат, или сын...

* * *

Как слушали столетия назад
кувшин, свечу, сверчка, часы с кукушкой,
как шум прибоя слушали в ракушках, —
я слушал снег, я слушал снегопад.
Я слушал снег — гуляние и крик
при массовом стечении народов,
листовками из толстых самолетов
рассыпанные рукописи книг.
Я слушал снег, который говорил
назойливыми белыми словами,
летящими в пространство куполами,
серебряными маршами перил.
Я слушал снег и домики на снос.
Я слушал птиц живых и замороженных.
Я слушал ветку железнодорожную
и старый маневровый паровоз.
Я слушал снег и Киевский вокзал,
где жизнь людей видна, как на ладони,
в обычном цвете, запахе, объеме.
Я слушал снег во все свои глаза.
Я слушал снег. Я слушал детский смех
и детский плач, и рев больного зверя.
И мотылек стучал в стекло сквозь снег.
Я слушал и ушам своим не верил.

Танцующая бабочка в окне,
чьи коконы раскручивались в смерчи...

Я слушал снег в таком глубоком сне,
как до рожденья или после смерти.

* * *

Улица Брюллова. Двухэтажный дом.
Сквозь косые щели между занавесок
лампа освещает амплитуды веток,
или силуэты за двойным стеклом.

Здесь когда-то жили старики семьи:
дедушка и бабушка - Григорий, Паулина.
А теперь клубится дух пенициллина,
вихрем удаляясь от сырой земли.

Или приближаясь, словно каждый нерв
напряжен внезапным привокзальным ветром.
Разум не напрасно, называют светлым,
если радость легче сдерживать, чем гнев.

Раньше тут предместье было за углом,
а теперь усадьба в двух шагах от центра.
Где же ель густая во дворе глухом?
Где же мастерская мебельного цеха?

Там, где серым цветом летом и зимой
железнодорожная ветхая больница,
там, где белка белая, синяя синица,
голубь голубой...

* * *

Знакомые места... Но космос между нами.
Не смог же различить мой взгляд со стороны
летящих за окном и стертых временами
мелькающих картин в потеках новизны.

Видений островов, заливов и излучин,
где смуглый паренек, одних годов со мной,
вставляя по веслу в рогатины уключин,
моих настырных глаз не чувствовал спиной.

Те солнечные дни мелькнули эпизодом,
их поезд огибал по краю, словно мыс.
И зыбкий горизонт сливался с небосводом,
и грустью неземной окрашивалась мысль.

Условная черта... За мирными годами
приходят в свой черед военные года...
Пять или шесть часов вагоны шли по дамбе —
из каждого окна видна была вода.

* * *

Лев — недоделанный сфинкс!
В лесостепной полосе
я удивляюсь, что им
съедены звери не все.

Спит или бодрствует лев
с львицами или один,
палец в распахнутый зев
лучше ему не клади.

Лев — это джунглей закон,
или цукат из айвы,
или Союз-Аполлон,
или пожар головы,

или — увидел и съел,
или журавлик в руке...
Лев — это, в сущности, well,
но на другом языке.

* * *

Заслуженная Золушка
усадьбу драит начисто.
— Скажи: «Молчанье — золото?» —
подначивает мачеха.

За сводными сестрицами,
за свиньями, коровами
в Европе трудно с принцами...
И обувь распарована.

* * *

Повстречал на базаре
пожилого индуса.
В ледяной стеклотаре
он просеивал мусор.
И хотя этот странник
был, как все побирушки,
понял я: он прозаик
и поэт Сальмон Рушди,
что в Восточной Европе,
как в снегу черепаха,
укрывается хлопец
от потомков Аллаха.
На одежде заплаты,
и питается плохо...
Ведь и мы азиаты,
правда, только по Блоку.
Я ему, как собрату,
дал железную гривну.
Ведь и мы азиаты,
только наполовину.
И сказал Сальмон Рушди,
что в последнее время
миром правят спецслужбы
и служебное рвенье.

И пока я помалу
въехал в смысл этой фразы,
два бойца из спецназа
замели нелегала.

* * *

На обложке — стальные ежи,
оберег бесполезный в бедламе.
Словно клетка грудная в надломе
наша скоропостижная жизнь.
Из матрешек отторженных тканей
проступает последний патрон.
Межевые скрижальные камни
мы читаем с обеих строн,
имитируя ропот словесный
неприкаянный, словно тротил.
Неужели, поэт неизвестный,
легкой смерти ты не заслужил?
Как небесный огонь в огнемете,
обжигает сетчатку и пальцы
фолианта клетчатка и кальций
некотиновым пеплом страниц,
антрацитовым пеклом глазниц
и шевронами на переплете...
Ни рожденья, ни гибели дат.
Неизвестный поэт — неизвестный солдат!

* * *

Деревянный, словно нарисованный
на фанерном выцветшем щите,
как сверхсрочник демобилизованный,
отраженный в небе и в пруде,
этот город, шиворот-навыворот,
у меня в походке и в крови.
Подмосковный пасынок и пригород
беспросветной хвои и травы.
А под вечер, тоже нарисованный,
разметав холмы сосновых игл,
в заграничной кепке парусиновой
безлошадный мчится мотоцикл.
Хорошо с таким же ускорением,
обогнув полсвета до утра,
возвращаться к людям и растениям —
старожилам города-двора.
Лишь в краю избытка кислородного
можно выйти (пять минут ходьбы)
за пределы клубня огородного
и за рамки собственной судьбы.

* * *

Оживают древесные сны,
открывается взору, как встарь,
златокаменный город-букварь
во главе рукописной страны.

Вновь по Лыбеди ходят суда,
а в Святошино водится вепрь.
Из Почайны святая вода
выплывает в языческий Днепр.

На раздолье, за славной рекой
разбежавшийся лес в лесостепь
начинает орать и свистеть
азиатской ордой кочевой.

Но внимательно смотрит дозор
с укреплений ворот Золотых,
чтобы пришлый грабитель и вор
отказался от помыслов злых.

Кто живет в летописном краю,
кто читает по карте светил,
кто разбил в рукопашном бою
наваждение вражеских сил?

Чтобы, стоя на древнем холме
над подольскими плавнями бухт,
я чертил, словно зодчий, в уме
изразцы кириллических букв.

И внезапно поверил до слез,
что бесхитростно, как на духу,
будто старую азбуку звезд,
книгу судеб прочесть я смогу,

проверяя значение слов
по незыблемой вере в добро,
по заглавным пролетов мостов,
по названиям станций метро.

* * *

Тридцатого июня
ни живы, ни мертвы
встречают новолунье
сибирские волхвы.

В геологоразведку
на угольный бассейн
сейсмологам в отместку
сослали польский сейм.

Судебная ошибка
затмила небосклон -
снижается снежинка
размером в стадион.

Хрустальный астероид
над озером тайги.
Пришествие второе
грядет не с той ноги.

Еще не дочитали
ажурную скрижаль.
Еще товарищ Сталин
из ссылки не сбежал.

Он кулачищем треснет:
«Шаманы, вашу мать!
Учитесь дар небесный
научно понимать.

Пока вы здесь на тризне
собрались жрать балык,
всему капитализму
готовится кердык!»

В последний день июньский
почти сто лет назад
в Подкаменной Тунгуске
случился лунопад.

* * *

Словно в полуподвале меня поселили,
ниже уровня лужи.
До ближайшей земли мореходная миля.
Рыба ищет, где глубже.

Мне из этого мира не выйти сухому,
отдышаться на суше.
За спиной, как хомут, прогибается омут.
Рыба ищет, где глубже.

Мутноватым пятном стекленеет поверхность.
Звуки глуше и глуше.
Расплываются буквы присяги на верность:
Р ЫБ А ИЩ ЕТГДЕ ГЛ У БЖЕ.

Разбиваю стекло, как отравленный газом, —
свежий воздух снаружи!
Против ветра всегда продвигаются галсом.
Рыба ищет, где глубже.

Все равно вырываюсь и вылез по пояс,
втянут заживо тут же.

Даже птица и маятник ищут покоя.
Рыба ищет, где глубже.

Я хочу на чердак, под железную кровлю,
чай с лимоном на ужин.
Пусть потом барабанят дожди хладнокровно:
рыба, дескать, ищет, где глубже.

Пусть потом и душа, пережившая ересь,
станет чище и легче
в час, когда, по реке поднимаясь на нерест,
рыба ищет, где мельче.

А когда-нибудь после, у бара пивного
заказав пару кружек,
я скажу собутыльникам крепкое слово:
— Рыба...

* * *

Сколько лет я участвовал сам
вместо важного дела во вздорном,
может быть, при рожденье повторном
опознаю себя по стихам.
Сквозь нехитрый поверхностный слой
по пластам, что в глуби настоялись,
вдруг пойму, что игрой обстоятельств
управляет стечение слов.
Что за ними?. А что за душой?
Темы вечные, тонкие тени,
отголоски своих побуждений
и навязчивый опыт чужой?
Полутон или полунамек,
или плач, или скрежет зубовный,
или попросту случай забавный
на листы терпеливые лег
в сочетании с музыкой? Но
узнавание образа в книжке
по эффекту сродни фотовспышке:
слишком ярко и слишком темно.

Где же точка отсчета, шкала
достопамятных метров и литров?
Перед взглядом рябит мошкара

препинания знаков и литер.
Постепенно сквозь пыль и пыльцу,
сквозь невидимых крыльев движенье
появляется изображенье,
словно кровь приливает к лицу.
Занесенный по окна песком
дом, где стол свежевыкрашен лаком,
где раскрытая книга под лампой
и сервиз на двенадцать персон.

* * *

Примкнула к городу деревня,
асфальт смешался с черноземом.
Зернистый дождь идет, а зерна
произрастают как деревья.

Рассеян по шотландским елям
особый свет, как под корзинкой,
он темноват для фотоснимка
зато для зрения приемлем.

И я гляжу во время ливня,
как будто с вышки или горки
на привокзальные задворки
сквозь теплый пар локомотивный.

Замесом воздуха с водою
бесперебойно хлещет пена
из водосточного колена
в косую яму под трубою.

Под ломовым напором кваса
дороги слой идет на убыль,
на щебне черном, словно уголь,
уже видны крупицы кварца.

А если сдвинуться чуть влево
к бомбоубежищу от клумбы,
то в изменениях рельефа
всплывут фасад и двери клуба.

Как будто в книге кто-то ищет
среди страниц один рисунок,
пока подсвечивают сумрак
высоких молний корневища.

* * *

Стали встречи такими редкими —
хоть помалкивай, хоть бесись,
между нами, как между рельсами,
целомудренно нет оси.
Не стыкуются даже тамбуры,
затерялся в хвосте вагон.
Под ступней твоей — супинаторы,
а должна быть — моя ладонь.
Гомонят продавцы клубникою
на перронах условных стран.
Впереди — предстоят каникулы,
Мулен Руж и большой канкан!

* * *

Над уровнем моря расплавился зной,
заправлены в плавки планшеты.
Я в Новом Афоне бродил под землей
и видел изнанку планеты.

Не каждый прекрасно, как я, объяснит
устройство каркасного типа,
где за сталагнатом растет сталагмит
и хочет боднуть сталактита.

Как будто Творец, выбирая матрас,
в руках континенты сжимает,
и если Эльбрус попадает в Кавказ,
тогда Арарат выпадает.

* * *

Приближается час полнолуния,
час, когда прогремит надо мной
сил небесных внезапная уния
с пробужденной подземною тьмой.

Сладкой крови прилив и восстание
ограниченных берегом вод.
Плод запретный на древе познания.
Карусельных зверей хоровод.

Королевский олень. Полоумная
голова ни жива, ни мертва,
целиком уходя в полнолуние,
с перекошенной бледностью рта.

Конь орловский. Очей полнокровие,
равнобедренный гипсовый свет —
по карнизу крадется атлет
и атлантом выходит на кровлю.

Из дремучего мрака, из месива
дыма горького, туч пелены

появление не полумесяца,
а божественно полной луны.

Сколько лет от беспомощной робости
мой язык, словно к небу присох,
не хватало лишь этой подробности -
завершающий яркий мазок.

Это жизни моей полнолуние,
восхождение под полонез
к полуночному пику небес,
где рассудок на грани безумия.

Это шаг от смешного к великому.
Наконец-то настал мой черед,
солнцеликий брат лунноликому
мускулистую руку пожмет.

* * *

Я знаю месяц и число,
когда к тебе придет любовник.
Во время сна открою сонник
пронюхать, что произошло.
Как будто вражеская цепь,
ползет навстречу цепь событий,
а я лежу, сплю как убитый
через оптический прицел.
Ищу контрольные слова,
пословицы и поговорки,
и бормочу: «халва-халва»,
а на губах вскипает хлорка.
Назад на много-много лун
плыву селедкой за китами,
и молодой Мао Цзэ-дун
два пальца держит над Китаем.
Пока персты пересчитал,
задумавшись, о чем не помню,
во мне скончались генерал-
майор и генерал-полковник...

«Любовь без ревности — фигня», —
сказал мне в лоб сексопатолог,
надменный павловский потомок,
источник дыма и огня.

* * *

По обиходному, по-книжному
как не своими голосами
напрасно мы взываем к ближнему,
когда себя не слышим сами.
Как птица в пестром оперении,
укрывшись в сумрачную зелень,
что видит внутреннее зрение?
Непроницаемую темень.
А мы хотим, привстав на цыпочки,
взойти к заветному пределу.
По лоскуту или по ниточке
своя рубашка ближе к телу.
Рвануть бы ворот откровением,
пока хоть это понимают:
— Спокон веков стоят растения,
а насекомые летают!
Вознесена или освистана
под смехотворною личиной
разнообразна только истина,
а ложь бездарна и едина.—
И, багровея от смущения,
не знать, куда поставить точку.
Теряет слово ощущения,
но сохраняет оболочку.

* * *

Влажный простор не вреден
менеджерам турфирмы,
что на открытом рейде
плещутся, как дельфины.

Благо, что берег возле
моря не испарился.
Грамотно сушат весла
гордые кипарисы.

Великолепным брасом:
череп — воронка — череп, —
плавает с контрабасом
контрабандист Печорин.

Перевернулась шлюпка.
Полная. Оверкилем.
Из-под волны Алупка
напоминает Киев.

Только чуть-чуть светлее
каждый цветок и вилла...
Дикая орхидея
руку мне откусила.

* * *

Когда меняет вкось и вкривь
одна оса осанку узнику,
напрасно просится на музыку
неосязаемый мотив.
Когда в доспехах из фольги
зудят личины беспризорные,
как будто лужи невесомые,
летят над улицей кульки.
Но тот из них, что больше всех
подклеен скотчем или пластырем,
не шелестит, не рвется вверх,
а на стене висит распластанный,
словно распятый человек.

* * *

Позор для творческой натуры,
когда совсем не обломилось
внести свой вклад в литературу.
А я работаю навынос.
Покуда те, кто в карауле,
под одеялом жрали гранты,
меня, гуляку, в эмигранты
на всякий случай запихнули.
Теперь любой профессор кислых
щей, хмуро надувая щеки,
культурно сетует: «Вы — призрак,
абсурда парус одинокий».
В краю родном я третий лишний,
хоть никому не делал худо.
За это хором шлют на Хутор—
Михайловский и пограничный.

* * *

По ученым курсам пятерым
просвещенный, будто агроном,
в дорогом костюме вороном
я не буду больше молодым.

В тесном хороводе пресных рыб
свернутым восьмеркою угрем
утоплю желания живьем,
чтобы эксгумировать надрыв.

Словно в любознательный кувшин
голову засунул журавель,
ловко раздвигая букву «шин»
в пене перламутровых кровей.

Чтоб сосуд, в котором пустота,
и бутыль, где Молотов коктейль,
фитилем слепящим, как метель,
сообщались явно иногда.

* * *

Под кожурой интимный привкус
светлей отверстия в стекле.
А ты опять навеселе,
и надо мной глумится цитрус.
Покуда не лишился чувств
нетерпеливый, как скотина,
я мысленно переключусь
на сердцевину апельсина,
волну с прожилками сегментов,
бульон из крыльев стрекозы
и преломленные носы
сомнамбулических ацтеков
с граненым криком ног и рук
в столичной давке за успехом,
где между зеркалом и эхом
усердно врет одно из двух.

* * *

Для тебя теперь мои упреки —
захолустный бред,
близкий — это значит, недалекий,
в стельку глух и слеп.
Травят снисходительные репы
элитарный сленг.
Ноги переходят все запреты
выше от колен.
Затаился в градусе янтарном
сладострастный шарм
и неуправляемым кошмаром
хлынул по ушам.
В данном треугольнике котангенс
важен и слащав,
а ему достался белый танец
белого плаща.
Напролет вальяжный виночерпий
хвалит сам себя.
Вечно я застенки огорчений
строю без гвоздя.
Не бывает воин виноделом —
пойло не в коня.
В веники разжалован Отелло,
снят с повестки дня.

До рассвета в дворницкой не спится,
на экране нар:
ноги переходят все границы
и Тверской бульвар...

Заковать бы в комнатные тапки,
в кухню и кровать,
и ладоней потные удавки
с горла не снимать.

Леше Парщикову

Сам себя предлагает за лепту
фешенебельный пляжный лежак,
или шведскую узкоколейку,
как на голое тело - пиджак.
Эту архитектурную школу
инвентарные рвут полюса,
не колышет ее, что Мавсолу
мавзолеи мозолят глаза.
Одинаковый слева и справа
околпаченный воздух висит,
чуть курчавей внизу, где канава,
чуть светлей наверху, где зенит.
У прохода в подзорную арку,
будто Рыбинск, молчит краевед
и подобно кухарке на фартук
убирает с ладоней цемент.
Замурован в чертеж землеройки
небосклон под вербальным огнем.
Скрупулезные полупостройки
околеют окольным путем.

По очкам неудача с позором
поучительней, чем чемодан,
чтоб носильщики за фантазером
потащили вдоль моря фонтан.

* * *

Граница — подобье изнанки,
навыворот птицы, как церкви,
там — доминиканские севки,
а здесь — белокрылые ржанки.
Пилот, озабоченный небом,
которого звали Ефимом,
вернулся из Кракова негром,
католиком и некрофилом.
Теперь он живет на Кубани
и грабит в полете буржуев,
и мертвые в доску путаны
боятся его поцелуев.

* * *

«По гордой лире Альбиона
грядут несметные войска...», —
майор, зав клубом гарнизона,
орал на штатских свысока.

На пятачке без кипарисов
у ресторана «Бельведер»
белиберду без компромиссов
нес музыкальный офицер.

Лейб-капельмейстер без оркестра
закладывал за воротник,
а на веранде — много места,
как на скамейке запасных.

Коньяк и водку дул сердито
обжегшийся на молоке.
Я знал, чем хуже композитор,
тем больше яду в кулаке.

Был понедельник или вторник —
определить никто не мог,
от пузырей ломился столик,
официанты сбились с ног.

А баталист на самом деле
не ведал, в чем его вина...
Как хорошо, что в Коктебеле
уже закончилась война.

Уход из Ялты
(На смерть Сергея Новикова)

Приехал я в Симферополь,
а там запоздалый снег
засахаренным сиропом
покрыл земляной орех.

И вплоть до самой Алупки
и далее — на Форос
форсированные скорлупки
летели из-под колес.

В дыре над массивом горным,
в ай-петриковском лесу
оракулом беспризорным
ворочался Учан-Су.

— Скажи, разлучивший реку
и русло среди пути,
приезжему человеку,
где Новикова найти?

Затейник тех изумлений,
что не исчезают впредь,

под натиском изменений
был вынужден умереть.

Единой цепи мы звенья,
хребетные позвонки...
Со мной чемодан портвейна
и плавленые сырки.

Ответь, на каком из кладбищ
(молчат почему-то СМИ)
моих кутежей товарищ
безвременно лег костьми?

Сегодня печаль не в моде.
Заполнен джанкойский ров.
Поэтов не топят в море
с почетом, как моряков.

И тавров закрыт некрополь...

— Оказия тут была —
корвет на Константинополь,
на Сен-Женевьев де Буа.

* * *

Днем и ночью летят над землей
позывные немыслимой связи:
захолустная станция Грязи
мне доводится близкой родней.

В чуткой памяти — черный провал,
но в сознание ищет проходы
то, о чем я не раз в свои годы
видел фильмы и книги читал.

В дни суровые, как в старину
за полком легендарного князя,
мой отец с отделением связи
добровольцем пошел на войну.

И когда загремел первый бой,
среди грохота, воя и свиста
заметалась фигурка связиста
и душа у него за душой.

Но, смертельного страха стыдясь,
по приказу рванувшись под пули,
в нарастающем огненном гуле
мой отец восстанавливал связь,

Оживал телефон полевой,
и неслось в непроглядную полночь,
словно срочно нужна моя помощь:
«Слышишь, сын?.. Слышишь, сын?..»
И — отбой.

Метрополитен

Рядовой брезентовый. Родом из Прибалтики.
Бармен по профессии. Герман Кузнецов.
Мы с тобой чеканили с помощью пневматики
щели между тюбингов кабельным свинцом.

Эти ребра-тюбинги, как ступени лестницы,
или как шпангоуты в трюме корабля,
мы с тобой чеканили восемнадцать месяцев,
чтобы зарабатывать в месяц три рубля.

В земноводном космосе — ни звезды,
ни ласточки,
сумерки песчаника, внутренности гор,
только низковольтные освещали лампочки
до корней обугленный арматурный бор.

Под ногами ползали черепахи с касками,
мы с тобой запутались в миллионах лет...
Помнишь, как из мусора ты на свет
вытаскивал
рыбы ископаемой каменный скелет?

Я тебе рассказывал про пивбар с креветками,
ты курил внимательно «Приму», а потом,
как оркестр за жмуриком, шли за вагонетками
и в ручьи подземные сыпали бетон.

В долгом ожидании демобилизации,
в штреке, окольцованном секциями стен,
замесив лопатами три цивилизации,
строили четвертую - метрополитен!

Рядовой брезентовый, ты из Домодедово
улетел в Эстонию, но который день
за электропоездом неотлучно следует
в сапогах резиновых строевая тень.

И в подземной памяти резко отражается
голос металлический от подводных свай:
— Осторожно! Двери закрываются.
Следующая станция «Китай — ...

* * *

Речь. Свистела стрелой и звенела дамасскою
сталью,
по земле растекалась чадящею жирной
печалью,
заходилась от боли, спекаясь в обугленном
тигле,
и металась по свету, как плач Ярославны
в Путивле.
Над страной деревянной, над полем
с поганою спесью,
над рекой обернись белым голубем
с радостной вестью,
но, когда обагрят тебя сполохи битвы
на Калке, —
волком бешеным режь лошадиные потные
холки.
Речь. Твои палачи надрывали от хохота чрево:
— Пусть читают кириллицу только могильные
черви.
Истребляли дословно, учили латинскому
шрифту.
Мордовали за правду и сеяли лютую кривду.

Время двигалось вспять, и бесились цепные
собаки,
ты проникла туда, где зимуют сибирские
раки.
На байкальских ветрах зазвучала унылая
песня,
и пошли по казацким станицам подметные
письма.
Да с сумой по широкой Руси с перекатною
голью,
до костей пропитавшись на промыслах
каменной солью:
от державных высот новогодней
державинской оды
до Мазурских болот обреченной российской
пехоты...
Повесть временных лет проникает в родное
столетье,
разметав над собой эскадрильи крестов
в сорок третьем,
чтобы дух созидания, тронув обломки бетона,
воплотился в пролетах мостов инженера
Патона.

Речь. Моею надеждой сама себя видишь
и слышишь,
от волненья, склоняясь над саженцем, словно
не дышишь,
превращаешься в слух непрерывный,
как первенца лепет,
представляешь легко, словно птичье название
«лебедь», —
знак упругий и крепкий, как сильное
рукопожатье,
звук доверчивый, нежный, как шепот
и шорохи платья.
Так твои черенки обращаются в дудки
пастушьи,
в стройных кронах органов сражаются
насмерть с удушьем,
чтоб зеркальная ртуть не разъела витраж
мирозданья,
чтоб нащупывать путь к устраненью причины
страданья.

* * *

Чудак из села Антоновка
Черниговского района,
зачем тебе анатомия
находки из Кроманьона?
Ты бросил жену красивую,
ты мощный похерил трактор
и жизни своей усилия
направил на поиск фактов.
Сомненья твои мучительны,
для многих людей опасны,
зачем ты избил учителя
безжалостно и напрасно?
Зачем же ты с ним связался,
когда различаешь туго
природу и цивилизацию,
культуру и некультуру?
Зачем ты при поле женском
об этих вещах трепался,
себя называл пришельцем
и тыкал на звезды пальцем?
Зачем ты с движком фотоновым
возился в разгар сезона,
чудак из села Антоновка
Черниговского района?

* * *

Четырнадцать лет.
Суматошные годы.
Спешишь на попутной
днепровской волне
по мудрым законам
игры и природы
к стремительным кручам
на той стороне.

Разрушили оползни
кромку обрыва,
слоеный орнамент
прошедших эпох,
но жжет любопытство
сильней, чем крапива,
сильней деревянной
усталости ног.

В развале размытого
ливнем кургана,
где часто копали
для ловли червей,
почти не заржавленный
корпус нагана

нашел я на зависть
ватаге моей.

Без тени сомнения
и беспокойства
безгрешность,
которая есть у детей,
делила на злые
и добрые свойства
поступки предметов,
растений, зверей.

Но весла нам так
окрыляли лопатки,
что мы ощущали
подкожно, как сны,
немые, мгновенные
рыбьи повадки,
начало прилива
с восходом луны.

В ботфортах резиновых
не по размеру,
досадуя горько,
когда не везло,

по плавням болотистым я до измору
таскал, пригибаясь под весом,
весло.

Да волоком лодку -
хрен редьки не слаще -
тащил,
погружаясь в застойную муть,
и сквозь лозняка
непролазные чащи
к стремнинам и плесам
прокладывал путь

мой преданный друг
в прорезиненной робе
и неповоротливый,
как водолаз...
И звезды,
внезапно прозревшие в Рыбе,
безмолвно и строго
смотрели на нас.

Алфавитный указатель

Анри Руссо 10
Армения.....74
Ассистентка.....122
«Боковые места в плацкартном...».....129
«Ботанический парк...» 14
В кафе 24
«В лазарете щиплет корпию...».....73
«В лифте пахнет уксусом...» 128
«В паспортный стол...».....140
«В полном имени — треть...».....71
«В тесной комнате без...» 120
«В угодьях водных и лесных...».....138
«Ветер с запахом печальным...» 30
«Вознесенный до самого неба...» 31
«Гложет плацкартная скука...» 53
«Глубже и темнее с каждым годом...».....84
«Гнал порожняк, открывая баул...» 108
«С утра вокзала здание...» 109
«Гортанные слышу звуки...» 76
«Граница — подобье изнанки...» 177
«День пасмурный. Земля...».....125
Диспут 134
«Для тебя теперь мои упреки...» 174

«Днем и ночью летят...» 183
«До сих пор не верю...» 112
Дом Мицкевича в Вильнюсе 98
Дом Ричарда 116
Домашние животные 28
«Дурачились до измора...» 41
«Его тревожил только звездопад...» 18
«Екнуло сердце у Клавдии...» 64
«Если Верхний и Нижний вал...» 80
«Если канул в зеркале битый час...» 136
«Еще с телеграфа не сняли лесов...» 57
«Жилец истории новейшей...» 63
«За туннелями — мосты...» 87
Буколика 88
«Задавалы-учителя...» 45
«Заслуженная Золушка...» 147
Знакомые места... Но космос...» 145
«Как губят петуха...» 42
«Как слушали столетия назад...» 142
«Улица Брюллова. Двухэтажный...» 144
«Как слушали столетия назад...» 92
«Какая муха укусила...» 51
«Когда меняет вкось и вкривь...» 170
«Когда освещают фонарики...» 124
Крик 34

«Лев — недоделанный сфинкс...» 146
Летучие мыши 67
Леше Парщикову 176
«Люблю в атласе и в ажуре...» 44
Марья-Лена 72
Мера.....101
Метрополитен 185
«Речь. Свистела стрелой...» 187
«На обложке — стальные ежи...» 150
«Деревянный, словно...» 151
«На Привокзальной площади...» 85
«На пятачке без кипарисов...» 86
«Над Подолом полная луна...» 56
«Над третьим этажом...» 118
«Над уровнем моря расплавился...» 163
«Приближается час полнолуния...» 164
«Назойливо шурша корою...» 114
«Небесный месяц, словно слово...» 16
«Неповторимый кагор...» 52
«Никаких сомнений быть...» 70
«Оживают древесные сны...» 152
«Он Свифтом опусы насвистывал...» 46
«Оплавились и обезлюдели...» 65
«Опять в обручальную муфту...» 123
«Особняк построил Городецкий...» 104

«Очухался межигорский затворник...» 126
«Оплавились и обезлюдели...» 127
«Плюю прицельно...» 40
«По обиходному, по-книжному...» 168
«Влажный простор не вреден...» 169
«По гордой лире Альбиона...» 179
«По силуэту утонченному...» 37
«По ученым курсам пятерым...» 172
«Повстречал на базаре...» 148
«Под воображаемый купол...» 62
«Под кожурой интимный...» 173
«Для тебя теперь мои упреки...» 174
«Под снегопадом...» 36
«Позор для творческой натуры...» 171
Полесье 77
Полнолуние 82
«Попытка свой бездарный...» 137
«После дождя земноводных ор...» 110
«Примкнула к городу деревня...» 160
«Путь убивает идущего...» 58
«Ресницами глупо хлопать...» 135
Рыбавль 20
«Свежак направляет суда...» 38
Сказание об Индийском царстве 12
«Сколько лет я участвовал сам...» 158

«Словарь хазарский» вышел давеча...»....50
«Словно в полуподвале меня...»....156
«Слово за слово стих напевает...»....60
«Стали встречи такими...»....162
«Старая кладка гранитной скалы...»....94
Слепки....96
«Течет по кругу постепенному...»....111
«Тридцатого июня...»....154
«Трижды стучали часы...»....66
У смерти нету репетиций...»....100
«Уникальный загар подмышек...»....131
«Усни под дождь — окажешься...»....23
«Уход из Ялты....181
Череп....106
«Четырнадцать лет...»....191
«Что не сокол — то извини... »....132
«Чудак из села Антоновка...»....190
«Я знаю месяц и число...»....166
«Я люблю, когда в названьях числа...»....48
«Я просыпаюсь в доме на горе...»....32
«Я с детства был веселый малый...»....54

ДООС
Добровольное общество охраны стрекоз
1984 – 2015

Основатели:
Стихозавр Константин Кедров-Челищев
и libellula Елена Кацюба.
Вольное общество поэтов пополнили
Стрекозавры Андрей Вознесенский,
Генрих Сапгир, Сербозавр Милорад Павич

Пришли звезды андеграунда:
Заузавр Сергей Бирюков,
Огнезавр Герман Виноградов,
Лингвозавр Вилли Мельников,
СтрекозАль Маргарита Аль,
Саксозавр Сергей Летов,
СтрекИзида Анна Альчук,
Звукозавр Лоренс Блинов,
Лайнзавр Владимир Опара,
Палиндрозавр Александр Бубнов,
Новая Доосская Алена Мартынова,
Найкозавр Найк Борзов,
Оса ДОООСа Кира Сапгир,
Art-стрекоза Нина Зарецкая,

Дудозавр Игорь Дудинский,
Зиоса Света Литвак,
Веразавр Вера Сажина.

Членами ДООСа также стали:

Линзазавр Виктор Ахломов,
Валерия Нарбикова,
Доосозавр Вадим Рабинович,
Кириллозавр Ковальджи,
Борис Рахманин,
Текстозавр Александр Люсый,
Днепрозавр Александр Чернов,
Боллозавр Александр Ткаченко,
Стреказелла Галина Мальцева,
Светозавр Андрей Врадий,
Рок-стрекоза Ольга Адрова,
Дева нот Алла Кессельман
Графикозавр Кристина Зейтунян-Белоус,
Прозостихозавр Анатолий Кудрявицкий,
Стреказанка Лидия Григорьева,
Стрекозабочка Леся Тышковская,
Книгозавр Виктор Корольков,
Никозавр Николай Еремин,
Крымозавр Андрей Коровин,
Кистезавр Андрей Бондаренко,

Австрозавр Виктор Клыков,
Теозавр Валентин Никитин,
Братскозавр Владимир Монахов,
Пчела Ганна Шевченко,
Дадазавр Денис Безносов,
Слонозавар Ольга Ильницкая,
Торозавр Алексей Торхов,
Зоммерзавр Татьяна Зоммер,
Украинозавр Игорь Балюк,
Одуванчик Ольга Лебединская,
Энтомозавр Петр Кобликов,
Ижезавр Игорь Крестьянинов,
Muvi-стрекоза Ирина Бессарабова,
Лизазавр Лиза Готфрик.

Титул Друзья ДООСа приняли

Игорь Холин, Алексей Хвостенко,
Марина Герцовская, Эльмар Гусейнов,
Михаил Молочников, Елена Пахомова,
Евгений Степанов, Алина Витухновская,
Ирина Силецкая, Наталия Азарова,
Дмитрий Плахов, Александр Гумённый.

Автор эмблемы ДООС — Сергей Бордачёв.

Содержание

Предисловие от автора.....7
Анри Руссо 10
Сказание об Индийском царстве.....12
«Ботанический парк...» 14
«Небесный месяц, словно слово...» 16
«Его тревожил только звездопад...» 18
Рыбавль.....20
«Усни под дождь — окажешься...» 23
В кафе 24
Домашние животные.....28
«Ветер с запахом печальным...» 30
«Вознесенный до самого неба...» 31
«Я просыпаюсь в доме на горе...».....32
Крик 34
«Под снегопадом...».....36
«По силуэту утонченному...» 37
«Свежак направляет суда...» 38
«Плюю прицельно...» 40
«Дурачились до измора...» 41
«Как губят петуха...» 42
«Люблю в атласе и в ажуре...» 44
«Задавалы-учителя...» 45
«Он Свифтом опусы насвистывал...» 46

«Я люблю, когда в названьях...» 48
«Словарь хазарский» вышел давеча...» 50
«Какая муха укусила...» 51
«Неповторимый кагор...» 52
«Гложет плацкартная скука...» 53
«Я с детства был веселый малый...» 54
«Над Подолом полная луна...» 56
«Еще с телеграфа не сняли лесов...» 57
«Путь убивает идущего...» 58
«Слово за слово стих напевает...» 60
«Под воображаемый купол...» 62
«Жилец истории новейшей...» 63
«Екнуло сердце у Клавдии...» 64
«Оплавились и обезлюдели...» 65
«Трижды стучали часы...» 66
Летучие мыши 67
«Никаких сомнений быть...» 70
«В полном имени — треть...» 71
Марья-Лена 72
«В лазарете щиплет корпию...» 73
Армения 74
«Гортанные слышу звуки...» 76
Полесье 77
«Если Верхний и Нижний вал...» 80
Полнолуние 82

«Глубже и темнее с каждым...» 84
«На Привокзальной площади...» 85
«На пятачке без кипарисов...» 86
«За туннелями — мосты...» 87
Буколика 88
«Как слушали столетия назад...» 92
«Старая кладка гранитной скалы...» 94
«Слепки» 96
Дом Мицкевича в Вильнюсе 98
«У смерти нету репетиций...» 100
Мера 101
«Особняк построил Городецкий...» 104
Череп 106
«Гнал порожняк, открывая баул...» 108
«С утра вокзала здание...» 109
«После дождя земноводных ор...» 110
«Течет по кругу постепенному...» 111
«До сих пор не верю гороскопам...» 112
«Назойливо шурша корою...» 114
Дом Ричарда 116
«Над третьим этажом...» 118
«В тесной комнате без телефона...» 120
Ассистентка 122
«Опять в обручальную муфту...» 123
«Когда освещают фонарики...» 124

«День пасмурный. Земля...» 125
«Очухался межигорский затворник...» 126
«Оплавились и обезлюдели...» 127
«В лифте пахнет уксусом...» 128
«Боковые места в плацкартном...» 129
«Уникальный загар подмышек...» 131
«Что не сокол — то извини...» 132
Диспут 134
«Ресницами глупо хлопать...» 135
«Если канул в зеркале битый час...» 136
«Попытка свой бездарный...» 137
«В угодьях водных и лесных...» 138
«В паспортный стол...» 140
«Как слушали столетия назад...» 142
«Улица Брюллова. Двухэтажный...» 144
«Знакомые места... Но космос...» 145
«Лев — недоделанный сфинкс...» 146
«Заслуженная Золушка...» 147
«Повстречал на базаре...» 148
«На обложке — стальные ежи...» 150
«Деревянный, словно...» 151
«Оживают древесные сны...» 152
«Тридцатого июня...» 154
«Словно в полуподвале меня...» 156
«Сколько лет я участвовал сам...» 158

«Примкнула к городу деревня...» 160
«Стали встречи такими...» 162
«Над уровнем моря расплавился...» 163
«Приближается час полнолуния...» 164
«Я знаю месяц и число...» 166
«По обиходному, по-книжному...» 168
«Влажный простор не вреден...» 169
«Когда меняет вкось и вкривь...» 170
«Позор для творческой натуры...» 171
«По ученым курсам пятерым...» 172
«Под кожурой интимный...» 173
«Для тебя теперь мои упреки...» 174
Леше Парщикову 176
«Граница — подобье изнанки...» 177
«По гордой лире Альбиона...» 179
Уход из Ялты 181
«Днем и ночью летят...» 183
Метрополитен 185
«Речь. Свистела стрелой...» 187
«Чудак из села Антоновка...» 190
«Четырнадцать лет...» 191

Алфавитный указатель 194
ДООС 199

Александр Викторович Чернов

Нижний Вышгород
Стихотворения

Чернов Александр
Нижний Вышгород. — Стихотворения . — М.: Издательство ДООС, 2015. — 208 с.
ISBN 978-5-9906507-6-3

Стихотворения, вошедшие в книгу, написаны Александром Черновым в разные годы. Автор сознательно не проставляет даты написания, считая, что стихи должны сами обо всем говорить читателю. Многие стихотворения публикуются впервые, некоторые уже печатались в литературных журналах и альманахах. «Нижний Вышгород» — шестая и в какой-то мере итоговая книга поэта.

Александр Викторович Чернов

Нижний Вышгород
Стихотворения

@ Издательство ДООС
Маргариты Аль

Подписано в печать 31.03.2015.
Формат 84x108/32. Гарнитура LiteraturnayaC.
Печать офсетная. Бумага мелованная.
Объем 6,5 печ. л. Тираж 3000 экз.

Отпечатано в типографии ООО «ПАК ХАУС»,
117420, г. Москва, Профсоюзная ул., д 57.

ISBN 978-5-9906507-6-3